

Елизавета Николаевна Водовозова

**На заре жизни. Том
первый**



Елизавета Водовозова
На заре жизни. Том первый

«Public Domain»

1911

Водовозова Е. Н.

На заре жизни. Том первый / Е. Н. Водовозова — «Public Domain», 1911

«Первая часть „Воспоминаний“ посвящена годам детства, которые я провела в глухом уездном городишке среди членов моей семьи, а потому в этот период жизни я говорю только о них. Но с переселением в деревню я близко сталкиваюсь с соседями, и это дает мне возможность описать деревенскую жизнь захолустного уголка, в котором я жила перед падением крепостного права...»

Содержание

Предисловие	5
Часть I	8
Глава I. Неожиданная встреча на станции и сватовство	8
Глава II. Мой отец; его военная служба	24
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Елизавета Водовозова

На заре жизни. Том первый

Посвящаю мои воспоминания мужу – товарищу и другу

Предисловие

Первая часть «Воспоминаний» посвящена годам детства, которые я провела в глухом уездном городишке среди членов моей семьи, а потому в этот период жизни я говорю только о них. Но с переселением в деревню я близко сталкиваюсь с соседями, и это дает мне возможность описать деревенскую жизнь захолустного уголка, в котором я жила перед падением крепостного права.

Нравы, обычаи, воспитание детей, отношения между ними и родителями – одним словом, вся жизнь русских дворян того времени – складывались на основе крепостного права. Лишь весьма немногим из них, благодаря исключительно благоприятным условиям, удавалось стать, если не во всех, то во многих отношениях, выше окружающей среды. Так, в умственном развитии моего отца огромную роль сыграли заграничные походы 1813–1815 годов, в которых он участвовал; они повлияли, как известно, и на целое поколение военной молодежи, дали могучий толчок распространению среди нее либеральных идей. Большое значение в жизни отца имели и пребывание его в Царстве польском в конституционный период,¹ и польская литература и культура. Но такие люди, как мой отец, с его широкими умственными запросами, с его гуманным отношением к семье и к своим крепостным, были редкими исключениями. Правду и в помещичьей среде того времени мне встречались не только жестокосердые люди, помышлявшие лишь о том, как бы повыгоднее для себя эксплуатировать своих рабов, но и добрые по натуре, даже великодушные в большинстве случаев, однако нравственно опустившиеся помещики или такие, которые отдавались какой-нибудь невинной забаве, вроде пристрастия к голубям, изготовления для себя гробов, а всю заботу о крепостных предоставляли произволу своих управляющих и старост. Наконец, те из помещиков нашего медвежьего угла, которые потерпели серьезную аварию в личной жизни, оказывались или беззастенчивыми сластолюбцами, или женоненавистниками.

Благодаря местным историческим условиям моей родины, в ней было значительное количество мелкопоместных дворян, и я могла близко наблюдать их нравственное и умственное убожество; так как о них до сих пор было мало сведений в литературе русских мемуаров, я решила представить несколько знакомых мне типов и из этой среды.

Всем, конечно, известно, какое губительное влияние имело крепостное право на помещичьих крестьян и особенно дворовых: даже там, где к ним относились сравнительно человеколюбиво, оно обыкновенно отражалось весьма печально на их судьбе, и чаще всего тех из них, которые отличались исключительно талантливостью. Вот потому-то я нашла бесполезным представить положение таких дворовых людей, как Васька-музыкант.

Жестокое право распоряжаться судьбою ближнего по своему произволу тлетворно влияло не только на тех, кто владел крепостными или сам принадлежал к их числу, но и на свободных людей, очутившихся в этой крепостнической среде, заставляя проникаться рабскими чув-

¹ По Венскому конгрессу 1815 года Польша была разделена между Россией, Австрией и Пруссией. 8 июня 1815 года Александр I издал манифест о создании Польского королевства. В декабре была обнародована конституция русской части Польши, которая объявлялась навсегда соединенной с Россией династической унией. Русский император одновременно являлся и польским королем. Законодательная власть принадлежала королю и народному представительству – сейму, который имел право решать лишь те вопросы, которые будут ему предложены на рассмотрение королем.

ствами даже одаренных от природы высоконравственными качествами. Иллюстрацией того и другого может служить вся первая часть моего труда.

Из глухого деревенского захолустья я попала в институт, который был в ту пору закрытым интернатом, отделенным высокими стенами от всего человеческого, где одно женское поколение за другим, изолированное от всего живого, воспитывалось, как будто нарочно, для того, чтобы не понимать требований действительности и своих обязанностей, и оканчивало курс образования, не приобретая ни самых элементарных знаний, ни мало-мальски правильных воззрений на жизнь и людей, что я и описываю во второй части «Воспоминаний».

Я воспитывалась в Смольном не только тогда, когда в него не проникала ни одна человеческая мысль, когда в него не долетал ни один стон, вызываемый человеческими страданиями: при мне в его стенах в качестве инспектора появился К. Д. Ушинский, что и дало мне возможность представить, как этот величайший русский педагог вместе с введенными им новыми учителями начал подрывать гнилые устои института и водворять в нем новые порядки, всколыхнувшие весь строй стоячего институтского болота, перевернувшие вверх дном все установившиеся в нем понятия о воспитании и образовании. В очерках об институте за это время я описываю, как под влиянием реформ Ушинского, его замечательной личности и выдающегося ума постепенно начали меняться мировоззрения, стремления и мечты институток.

После умственной и нравственной встряски, произведенной Ушинским, когда голова моя шла кругом от нахлынувших новых взглядов и когда они далеко еще не перебродили в ней, я была брошена в самый кипучий водоворот жизни 60-х годов. В очерках под названием «Среди петербургской молодежи 60-х годов» я старалась представить жизнь молодых людей того времени, их отношения друг к другу, их взгляды, споры, стремления, излюбленные занятия, умение скрасить трудовую жизнь безудержным весельем, наконец, раздоры отцов с детьми и фиктивные браки.

Мои первые знакомства с людьми молодого поколения, совместные занятия с ними, посещение лекций, воскресных школ, кружков и вечеринок, разговоры, споры и речи я, под живым впечатлением, подробно описывала моей любимой сестре, жившей в то время в провинции. После ее смерти я нашла у нее мои письма и воспользовалась ими для очерков, о молодежи 60-х годов.

Затем, после продолжительной разлуки с близкими родными, я ненадолго попадаю под родительский кров и описываю все то, что встретила на моей родине, как реагировали на новые общественные течения и крестьянскую реформу члены моей семьи, а также помещики и крестьяне, которых я тогда встретила.

В мои «Воспоминания» я вношу только то, что видела, переживала, чему была свидетельницей или что слышала от окружающих. Хорошо запомнить события деревенской жизни и характеры моих старых знакомых, помещиков дореформенного времени, мне очень помогло то, что, имея уже собственную семью, я нередко отправлялась на родину к матери, куда съезжались и мои братья и сестры. Члены моей семьи чрезвычайно любили вспоминать прошлое. Более всего способствовали этому уединенная однообразная деревенская жизнь нашего захолустья, недостаток книг для чтения, часто даже отсутствие газет, следовательно, скудость тем для разговора. В неделю-другую после приезда перескажем, бывало, друг другу все, что накопилось за год разлуки, – и материал исчерпан. И вот, достаточно было самого ничтожного повода – появления бабы, пришедшей из дальней деревни за лекарством, получения от соседа деловой записки, – и один из присутствующих начинает вспоминать о людях и событиях той местности, другой переходит на соответствующие эпизоды из прошлого нашей семейной жизни, третий поправляет и дополняет рассказываемое всевозможными подробностями, так как все присутствующие в продолжение многих лет были свидетелями одних и тех же событий, жили одною и тою же жизнью. Подобные рассказы повторялись при мне много раз, и в моих воспоминаниях о событиях раннего детства я не всегда могу дать себе отчет в том, что наблю-

дала сама и что узнала из рассказов лиц, меня окружавших. Еще более оживляло прошлое в моей памяти следующее обстоятельство: когда я летом приезжала в деревню к матери, она то и дело просила меня читать дневник ее преждевременно умершей дочери, а моей любимой сестры², найденный после ее смерти. Таким образом, он был весь прочитан несколько раз от начала до конца. Читать одно и то же приходилось потому, что это доставляло матушке бесконечное удовольствие и будило воспоминания о прошлом; она то и дело сообщала подробности или факты, на которые покойная сестра не обратила внимания или описывала их слишком кратко. Вот почему многие события деревенской жизни я помню очень живо.

Отдельное издание моих воспоминаний «На заре жизни» составилось из очерков, напечатанных в следующих журналах: 1) «Русская старина», 1887 год, № 2, под псевдонимом Н. Титовой, 2) «Минувшие годы», 1908 год, в десяти книжках, 3) «Русское богатство», 1908 год, в пяти книжках, 4) «Русское богатство», 1911 год, № 2, 5) «Современник», 1911 год, в трех номерах. Во вторую, а еще более в третью часть «Воспоминаний» вошло несколько новых очерков и эпизодов, нигде не появлявшихся в печати.

Моими «Воспоминаниями» о помещичьей и крестьянской жизни, напечатанными в журналах, уже воспользовались некоторые исследователи истории крепостного права в царствование императора Николая и собиратели материалов для этой истории³. Если и другие мои очерки окажутся небесполезными для ознакомления с теми сторонами нашей прошлой жизни, которые я описываю, я буду вполне вознаграждена за свой труд.

Когда в этой книге я упоминаю о литературных и общественных деятелях, я обыкновенно не нахожу нужным утаивать их имена, но когда дело идет о моих родных и знакомых, имеющих значение только для общей характеристики того времени или представляющих, как мне кажется, интерес лишь для педагога и психолога, я не считаю нужным называть их настоящие имена.

² Речь идет об Александре Николаевне Цевловской (Саше, Шуре), с конца 1861 года занимавшей должность помощницы начальницы Мариинского женского училища в Смоленске.

³ В частности, можно указать на книгу проф. И. И. Игнатович «Помещичьи крестьяне накануне освобождения» (М. 1910), в которой автор неоднократно ссылается на воспоминания Е. Н. Водовозовой.

Часть I

Жизнь в провинциальной глуши перед падением крепостного права

Глава I. Неожиданная встреча на станции и сватовство

Мой дед и его жена. – Ее изгнание в ссылку. – Свадьба моей матери⁴

Моя мать, урожденная Гонецкая, очень рано вышла замуж. Вот что она рассказывала по этому поводу нам, своим детям, когда мы были уже взрослыми.

По окончании курса в петербургском Екатерининском институте в 1828 году, будучи тогда шестнадцатилетней девушкой, она возвращалась весной со своим отцом в его имение, деревню Бухоново Поречского уезда, Смоленской губернии. Подъезжая к одной из почтовых станций недалеко от своего поместья, они встретили господина лет тридцати семи, который только что приехал туда же. Оба путешественника, то есть мой дед (отец моей матери) и господин, отрекомендовавший себя Николаем Григорьевичем Цевловским, тотчас разговорились между собою. Оказалось, что оба они не только уроженцы Смоленской губернии, но что дедушка прекрасно был знаком с покойными родителями Николая Григорьевича, нередко бывал у них в доме и знал его, когда он был еще ребенком. Но с тех пор много воды утекло: мой дед во время этой встречи был уже стариком, а Николай Григорьевич только что оставил военную службу и отправлялся в свое имение Погорелое, находившееся недалеко от Бухонова.

Не только в ту отдаленную пору, о которой я говорю, но еще совсем недавно, когда уроженцы Смоленской губернии встречались друг с другом, они немедленно задавались вопросом, не состоят ли они в родстве между собою. В конце концов, обыкновенно выходило так, что они действительно оказывались, хотя отдаленными, но все же родственниками.

– Позвольте, – говорил кто-нибудь из них, – как же мы-то с вами друг другу приходимся? Не знавали ли вы Анну Петровну Скарятину, двоюродную тетку моей жены?

– Боже мой, – отвечал ему другой с радостным волнением, – действительно мы с вами родня!.. Скарятина – троюродная сестра моего двоюродного племянника.

Так было и в данном случае с дедушкой и Николаем Григорьевичем: только после этих счетов и пересчетов родни они приступили к другим темам разговора.

Когда мужчины поболтали между собою и напились чаю, дедушка выразил желание «соснуть». Матушка, до дикости конфузливая институтка, испугалась, что она останется с глазу на глаз с незнакомым человеком, с которым она ни одного слова не проронила во время чая, схватила ломоть хлеба и отправилась на крыльцо кормить кур. За нею скоро последовал и молодой помещик.

– Господи боже мой! – рассказывала мать. – Сколько времени прошло с тех пор, а я все помню, что было сказано тогда между нами, помню каждое слово Николая Григорьевича, каждый его жест, точно все это случилось только вчера. Вышел он на крыльцо и начинает расспрашивать меня. А я в ответ только «да» и «нет», да и это-то насилу могу выдавить из горла, продолжаю крошки курам бросать, пошевеливнуться боюсь, обернуться в его сторону не

⁴ Многие действующие лица в моих «Воспоминаниях» названы вымышленными именами; изменены и названия местностей. (Прим. Е. Н. Водовозовой.)

смею, – такими мы потешными дикарками из институтов выходили. Верите ли, конфузливость в большом обществе у меня нередко доходила просто до потери сознания, а между тем по натуре я была очень живая и даже пребойкая.

– Да что же это, mademoiselle Alexandrine, вы меня так дичитесь? Ведь тут нет ваших классных дам! Скажите же что-нибудь!.. Ну... любите ли вы танцы или нет?

– Да, очень, – отвечала я, не оборачиваясь.

– Ах вы, бедная, бедная девочка! Ведь ваше имение Бухоново – настоящий медвежий уголок! Редко кто туда заглядывает! Потанцевать-то вам вряд ли когда придется! В ваших краях образованной молодежи совсем нет. Помещики и их супруги говорят «нетути», «надысь», «намеднись», а их сынки лазят по голубятням, бегают с борзыми по лесу, ну, а танцуют они, если только танцуют, пожалуй, не лучше медведей, на которых они охотятся... Да, обидно за вас!.. И как вы будете резко выделяться среди всего этого общества!.. Точно распустившийся розанчик среди чертополоха!

Мне очень понравились эти слова. Думаю, верно, поэт, попросить бы его стишки почитать, может быть, он даже сам их пишет... Да куда тут! Ведь я в первый раз в жизни с посторонним мужчиною разговаривала! Вот я и стою как пень, продолжаю курам крошки бросать и с ужасом думаю: ломоть кончается, куда же я тогда свои руки дену?

– Да бросьте вы кур кормить! Это-то занятие от вас не уйдет! Ах, сказал бы я вам один секрет... Только боюсь доверить! Еще, пожалуй, папеньке все разболтаете... Уж и не знаю... умеете ли вы тайны хранить?

Это меня сразу задело за живое, – я обернулась к нему и говорю: «Если вы меня такой „мовешкой“ считаете, нам нечего и разговаривать!..»

– «Мовешкой»! Ха, ха, ха... ха, ха, ха... – хохотал он, – что это значит? Это, вероятно, у вас в институте так называли тех, кто не умел себя держать?

– Что вы, что вы! Это гораздо хуже! Мовешками у нас называют безнравственных девиц, которые доносят на подруг начальству или не умеют беречь серьезных секретов... А я никогда, понимаете, во всю свою жизнь, ни одного секрета не выдала! – Попал он на институтскую тему, вот я конфузливость свою и забыла, стала стрекотать, как сорока. – А знаете ли вы, – говорю ему, – как трудно не выдать секрет, когда подруги знают, что именно тебе его доверили? Они ведь просто тогда осаждают, умоляют назвать хотя первую букву, с которой секрет начинается! Иная долго, долго крепится, но наконец скажет первую букву, а у нее мало-помалу догадками и хитростями вымотают и все остальное. Но со мною этого, слава богу, никогда не случилось... Я во всю свою жизнь ни одного секрета не выдала!

– Верю, верю! И чтобы вам доказать, что я вас не считаю ни мовешкой, ни безнравственной, я вам, пожалуй, открою мой секрет...

Хотя он все говорил с шутками и прибаутками, с хохотом и улыбками, потешаясь над моею институтскою наивностью, но все это я поняла гораздо позже, а в ту пору я была совсем глупой, – мне казалось, что он ведет со мною серьезный разговор, а его шутки я приписывала тому, что светскому человеку так и подобает говорить с молодой девушкой.

– Мой секрет вот в чем: так как вы любите танцевать, а в вашей труппе вам это никогда не удастся, я и задумал устроить для вас бал... Понимаете, настоящий блестящий бал! На этом балу будет греметь великолепнейший оркестр музыки... Приглашены будут настоящие танцоры – кавалеры со шпорами... Не только дамы будут в цветах, но стены залы и музыкальные инструменты будут украшены ими!.. И среди этих цветов, среди самых хорошеньких женщин и девушек всей нашей губернии вы будете царицею бала, красивейшим цветком, лучшим украшением!.. А я перед вами... на коленях с гитарою в руках буду воспевать вас, прелестное создание, дивная красота которой, как пышная роза, цветет в нашем убогом захолустье!.. Так вот все это я устрою для вас, но с одним условием.

– С каким? Говорите! Пожалуйста, скажите! – Я с таким наслаждением слушала, как он меня воспевал, так он меня раззадорил предстоящим балом, и мне страшно досадно стало, что он вдруг остановился, – сам смотрит на меня и улыбается, а не продолжает. Я ему и говорю: – Если вы действительно устроите для меня такой бал, то я наперед согласна на все ваши условия...

– Видите ли, в чем дело: ведь не могу же я приехать к вашим родителям и сказать: «Я хочу устроить бал для вашей дочери». Вы понимаете, что так никто не посмеет сказать... Ваши родители могли бы принять такое предложение за личное оскорбление, могли бы просто выпроводить меня из своего дома с великим скандалом.

– Если такого бала нельзя устроить, – прервала я его, вспыхнув от досады, – зачем же вы мне все это расписывали? Значит, вы хотели только посмеяться надо мной?

– Боже мой! Что вы говорите? Я слишком уважаю вас, чтобы смеяться над вами!.. Подождите сердиться... Я ведь хотел только объяснить вам, что в такой форме нельзя сказать вашим родителям о бале... А как устроить такой бал, – у меня есть мысль... Не знаю, согласитесь ли вы?... Как бы это сказать... боюсь, что вы опять на меня рассердитесь!..

– Даю вам слово, что не рассержусь, только говорите скорее, не мучьте меня! – Тут уж я смело-пресмело стала разговаривать с ним, точно с институтской подругой.

– Так вот в чем дело... Однако, знаете ли, mademoiselle Alexandrine... мне трудненько сказать вам это! Очень я боюсь вас... Уверяю... Ну, будь что будет! Слушайте же... Приеду я в ваш дом... так через недельку-другую, – ваш батюшка, вероятно, пригласит меня. Побываю у вас несколько раз, а потом... потом... сделаю вам предложение... буду просить у вашего батюшки позволения жениться на вас... И вот тогда на нашей свадьбе я и буду иметь возможность устроить блестящий бал. Я так его устрою, так устрою чудесно... только согласитесь быть моею женой.

– А вы наверно, наверно устроите тогда блестящий бал?

– Если вы умеете хранить секреты, то я умею держать свое слово... А в этом случае сдержать слово я буду считать своею святейшею и приятнейшею обязанностью...

И вдруг я, как дура, начала хлопать в ладоши, скакать, хохотать... А он, вероятно, не мог даже сообразить в первую минуту, что это во мне глупое институтство брызжет изо всех пор, и совсем оторопел от моего хохота, подумал, что я издеваюсь над его скоропалительным предложением, и говорит:

– Что же вы смеетесь? Почему вы так странно принимаете мое предложение?

– Да ведь «наши» – то, то есть мои институтские подруги, тогда совсем провалятся со своим пророчеством? Поймите... У нас в каждом классе подруги сообща решали, кто первый, кто второй по красоте... Я числилась только девятой. Вот они и были уверены, что первая по красоте выйдет замуж раньше других, затем вторая и так далее, следовательно, я должна была выйти замуж девятой, – и вдруг я первая.

– Как! Они вас ставили только девятой по красоте?

Это служит лучшим доказательством того, что женщина не может судить о красоте другой женщины... Вы всегда и везде будете первой красавицей!

– Вы не можете этого знать!.. Вы не видали моих подруг!

– Нет, я знаю... Вы самая лучшая, самая красивая, самая прелестная на всем земном шаре!

– Вы просто льстите мне! – говорю я ему, а сама до смерти рада, что он так расхваливает меня, что он говорит мне такие приятные комплименты.

– А теперь прошу вас об одном, – сказал Николай Григорьевич. – Ни одного слова не говорите вашим родителям, и решительно никому о моем предложении. Скажу вам только одно: что я очень, очень счастлив... в высшей степени доволен, что вы согласились на мое условие. Не раздумаете? Нет? Ну, так по рукам.

Я и тут, ни о чем не думая, подала ему руку, точно соглашалась идти с ним на тур вальса.
– Теперь вы моя невеста! Настоящая невеста, хотя и *тайная*. Помните, – нужно крепко держать слово... хранить тайну до гробовой доски.

– Я прекрасно это понимаю, только и вы помните, что должны устроить блестящий бал с настоящими кавалерами, а то мне до смерти надоели танцы «шерочки с машерочкой», – ведь у нас в институте подруга с подругой танцуют... Пусть бы скорее наступал этот бал, – говорила я ему, уже совершенно не конфузясь его, не понимая всей наивности, всего непроходимого легкомыслия своего тогдашнего поведения. Только уже после замужества я начала сознавать все это и, бывало, спрашивала мужа, как он посмотрел тогда на то, что я не только тотчас же согласилась на его предложение, но даже торопила его свадьбой... Не показалась ли я ему слишком наглой, не подумал ли он тогда обо мне, что я слишком нетерпеливо стремилась к замужеству? Но он в таких случаях всегда отвечал мне...

Но матушка не передала нам ответа отца; она вдруг сразу сконфузилась, опустила голову и, улыбаясь счастливою улыбкой, густо покраснела. Несмотря на то что в то время, когда она нам рассказывала этот эпизод своей жизни, ей было уже под пятьдесят лет, она вполне сохранила какую-то целомудренную девичью застенчивость, и при ней никогда никто не смел рассказывать ни о чем двусмысленном и игриво-пошлом, не выносила она и разговоров об адюльтерах с пикантными приключениями, – даже намеки на эти вещи до глубокой старости вызывали густую краску стыда на ее щеки.

– Конечно, – кричали мы со всех сторон, – на ваши вопросы отец отвечал вам, что он не мог подумать о вас ничего дурного, так как вы были чисты, как ангел, божественно прекрасны, прелестно наивны, что относительно вас у него и в голове, и на языке был только один восторг... Ведь так?

– Да ну, отстаньте! – махала она на нас рукой, желая заставить нас прекратить перечисление эпитетов, будто бы даваемых ей отцом...

– Да, – говорила она, помолчав, – невероятно наивны и глупы были мы, выходя из института... Просто преступно и жестоко было в таком виде бросать девушку в житейский водоворот! Но все же были и хорошие стороны в этом отсутствии знания жизни: теперешняя барышня сейчас замечает, если она кому-нибудь нравится, и давай кокетничать, и глазками стрелять, и штучки разные откалывать, чтобы еще больше обворожить, – ну а мы по выходе из института были совсем неопытны в кокетстве.

Семья моей матери в тот период ее жизни, когда она только что кончила курс в Екатерининском институте, состояла из ее отца, Степана Михайловича, мачехи и двух братьев: Ивана и Николая. Родной матери матушка лишилась очень рано, а мачехи своей, когда она возвращалась из института, она еще никогда не видала. Ее отец, уже будучи в весьма преклонных летах, женился вторым браком на очень молоденькой девушке в то время, когда его дочь Александра (моя мать) была еще в институте. Вторая жена дедушки была лишь на четыре года старше своей падчерицы. Своих братьев, Ивана и Николая, моя мать не видала давным-давно: их отдали в корпус еще до поступления ее в институт, так как она была младшею в семье. В эпоху, описываемую мною, они были офицерами и написали отцу, что приедут летом в деревню. Таким образом, вторая жена дедушки, Марья Федоровна, урожденная Кочановская, совсем не была знакома с детьми своего мужа; своих же собственных детей у нее не было.

Когда дедушка написал своей дочери в институт о том, что он вторично женился, моя матушка, тогда еще девочка-подросток, страшно испугалась, что у нее будет мачеха. Когда она ехала с отцом в деревню, чем ближе подъезжала она к дому, тем тяжелее становилось у нее на душе при мысли, что ее встретит не родная мать, а мачеха, которую она представляла себе не иначе, как в виде злой, сварливой, старой классной дамы, которой ничем нельзя угодить, с ненавистью относящейся к своей падчерице. Отец не говорил ей даже о том, каких лет была ее мачеха, не говорил, как она догадалась потом, вероятно, потому, что его жена была гораздо

более чем вдвое моложе его; к тому же он был человеком властолюбивым, старозаветным и весьма крутого нрава. Он и для того времени слишком строго расправлялся со своими крестьянами и сурово относился к домочадцам. За все время воспитания в институте моей матери он не только ни разу не навестил ее, но, будучи человеком весьма зажиточным, не посылал ей даже ни гостинцев, ни денег, хотя по натуре вовсе не был скупым. Он не выказывал ни жене, ни дочери никаких чувств, так как находил, вероятно, что простые человеческие отношения к близким могут уронить в их глазах его авторитет главы семейства, – идеи Домостроя еще не совсем исчезли в русском обществе в первой половине XIX столетия. Хотя дедушка не видал своей дочери за все время ее воспитания, но как только он отправился с нею в дорогу, так сейчас же начал обрывать ее каждый раз, когда она живо заговаривала с ним о чем-нибудь, наставительно и торжественно внушал ей, что она обязана видеть в нем *только* отца, а не свою «подружку-милушку», и что потому-то для нее неприлично трещать с ним, как трещотка: она должна лишь почтительно и благопристойно обращаться к нему. Ни малейшего спора не только с дочерью, но и с женою он не допускал, усматривая в этом унижительную для себя фамильярность. Уже сам по себе его наставительный тон отталкивал от него ту и другую и мешал им просто, по-человечески относиться к нему.

До возвращения моей матери под родительский кров отношения между ее отцом, Степаном Михайловичем, и его женою, Мариєю Федоровною, были более или менее миролюбивые, – по крайней мере, у них не выходило между собою никаких ссор и недоразумений. Да и не могло быть иначе: Марья Федоровна, существо замечательно кроткое, беспрекословно выполняла все требования мужа. Несмотря на живость своего темперамента, она скоро приучила себя отвечать ему только на его вопросы, а если ей изредка и приходилось разговаривать с ним, то в «меру» и «благопристойно», – как он этого требовал. Но как только в доме появились его дети от первого брака, так отношения между мужем и женою совершенно испортились.

Матушка рассказывала, что, когда она впервые увидела свою мачеху, ее так поразили ее молодость и красота, удивительная стройность ее стана, грация ее симпатичной фигуры, ее живые и естественные манеры, ее привлекательная улыбка, что она со словами: «Мамашечка, какая вы чудная красавица!» – бросилась душить ее в своих объятиях. Но отец тотчас же строго заметил дочери, что она должна целовать у матери только руку, а не вешаться ей на шею, как на «подружку-милушку», говорить ей всегда «вы» и твердо помнить, что она для нее прежде всего мать.

После этого мачеха в присутствии мужа разговаривала со своею падчерицею очень сдержанно. Но когда кончился обед и Степан Михайлович отправился отдохнуть в свою комнату, мачеха бросилась целовать падчерицу. Она рассказала ей, как мечтала о ее приезде, как изнывает в тоске в захолустье. Гости редко бывают, а если и приезжают в торжественные дни, то обыкновенно садятся за карты. И это еще самое лучшее, так как Марья Федоровна, приготовив все, что следует для их угощения, могла тогда уходить к себе. Гораздо неприятнее для нее разговоры гостей: один похваляется перед другим, как ему удалось надуть приятеля, взяв за негодную лошадь дорогую цену, другой объясняет, какую «штуку» он придумал, чтобы мужики и *бабы* не ленились. Но Марья Федоровна не стала на первых порах рассказывать падчерице, в чем состоят эти «штуки», говоря, что она сама скоро все увидит и узнает. Теперь им вдвоем будет весело: они будут гулять, читать и работать вместе... Она конфузливо прибавила, что для этого, конечно, нужно будет улучать время, когда Степана Михайловича не будет дома, так как он, видимо, желает, чтобы она (Марья Федоровна) разыгрывала роль почтенной матери семейства, а она этого не умеет...

Падчерица с мачехою быстро сблизилась между собою и с тех пор на всю жизнь сделались сердечными друзьями.

Требования дедушки, предъявляемые им к дочери и жене, были так несложны, что обе они скоро приноровились к ним, и старику не за что было журить ни жену, ни дочь: обе жен-

щины чинно разговаривали между собою в его присутствии и с почтительным смирением относились к нему. Но как только Степан Михайлович уходил со двора, они начинали болтать, петь и возиться между собой. Чуть кто-нибудь из них заслышит его шаги, они моментально разбегались в разные стороны и садились за свою работу.

Но вдруг на них посыпались напасти. Дедушка то и дело заставлял их на месте преступления: то он неожиданно входил в комнату в ту минуту, когда они, схватив друг друга за талию, носились по комнате в каком-нибудь танце, то ловил их на том, как они с хохотом бегали вперегонку по аллее сада. Он тут же резко бранил дочь за то, что она осмеливается запанибрата обращаться с матерью, а жену – за то, что она забывает свое почтенное положение матери семейства и ребячится с девчонкой, как равная с равной.

Судя по тому, как Степан Михайлович радовался гостям, как усердно зазывал их к себе, как оживленно, беседовал и шутил с ними, видно было, что и его по временам одолевали скука и однообразие деревенской жизни, но его домостроевские взгляды и деспотический нрав не давали ему возможности установить человеческие отношения со своими домашними. И вот, вероятно вследствие этого, он стал враждебно относиться к тому, что обе женщины так весело проводили время без него.

Чем ближе матушка узнавала свою мачеху, тем более удивлялась ее уму, благородству ее характера, ее природной деликатности и доброте. Она не только с горячею любовью, но с истинным восторгом до конца своих дней вспоминала ее, говорила, что редко родная мать относится с такою нежною ласкою и вниманием к своему дитяти, как относилась она к ней, что и ее братья, то есть пасынки Марьи Федоровны, тоже искренно привязались к ней. Несмотря на это, падчерица всегда называла ее «мамочкою» и «вы», а та ее – «Шурочкою» и «ты».

Моей матери так нравилась мачеха, она с таким обожанием смотрела на нее, что порой, бросаясь душить ее в своих объятиях, с энтузиазмом и с оттенком горечи восклицала: «Ах, мамочка, отчего я не могу родиться во второй раз? Ведь тогда вы были бы моей настоящей, родной матерью!» На это Марья Федоровна неизменно отвечала что-нибудь в таком роде: «Не понимаю, Шурочка, почему так хочется тебе этого? Видит бог, что и тогда я не могла бы больше любить тебя».

За выражение подобных чувств им обоим однажды порядком досталось. Когда злополучная фраза моей матери как-то долетела до слуха дедушки, он вошел в комнату мрачнее тучи и начал распекать свою дочь за то, что ее язык, «язык такой молодой девушки, почти ребенка, поворачивается произносить такие непристойности, которые не позволит себе последняя девка из крепостных». Ошеломленная этим упреком и искренно не понимая, в чем она провинилась, матушка забыла предупредить мачеху никогда не возражать отцу, и очень вежливо просила его объяснить ей, в чем заключалась непристойность в ее словах. Но отец грозно затопал на нее, кричал, что если она не понимает этого сама, то не поймет и его объяснений. К тому же не он, ее отец, должен ей объяснять подобные вещи, а особа, которая заменяет ей родную мать... Но обе они негодницы, не понимают ни женской скромности, ни женской чести.

Когда после этого мачеха с падчерицею выбежали из дому, моя мать, обнимая Марью Федоровну, сказала ей:

– Видно, ему ничем нельзя угодить!.. Господи, какой тяжелый характер у папеньки!

– Как тебе не стыдно, Шурочка! – возразила с упреком мачеха. – Вместо того чтобы пожалеть отца, ты его же осуждаешь. Подумай, как ему должно быть тяжело жить с таким характером, видя, как от него бегут самые близкие, и не уметь совладать с собою!.. Ведь это мука мученическая!..

Такая доброта и кротость так поразили мою мать, что она бросилась обнимать свою мачеху, называя ее «святой» и «ангелом доброты».

– Шурочка, дорогая, милая... никогда не называй меня так!.. – заливаясь слезами, говорила Марья Федоровна. – Твои слова – острый нож в сердце. Ты превозносишь мою доброту,

а на душе моей великий грех, и никогда мне не замолишь его!.. Ведь я дала обет перед святым алтарем делить с мужем горе и радость, нести ему любовь, совет и ласку!.. А что я делаю? Чуть его завижу – бегу, чтобы только не попадаться, ему на глаза, чтобы было себе полегче, поспокойнее... Если бы я выждала минуту-другую, когда он подбрее, да попыталась бы представить ему, как необходимо для него иной раз подойти к тебе с лаской, хотя изредка дать тебе возможность поболтать с ним о пустячках девичьих, ведь ты бы ему всю душу отдала. Конечно, человек он суровый, сразу бы это не удалось, иной раз мне, быть может, и сильно бы досталось... Так ведь если бы я была такою хорошею, какою ты меня представляешь, разве бы думала я только о себе? Неужели ты не понимаешь, что это тяжкое прегрешение?

– За меня-то, мамочка, вы, пожалуйста, не обвиняйте себя!.. Когда мы возвращались с папенькой из института, я то и дело заговаривала с ним... мне даже трудно было молчать, но он каждый раз так резко обрывал меня, что мне – волей-неволей пришлось совсем замолчать...

– Я не обвиняю тебя, что ты не сумела к нему подойти: ты – дитя, характеров людей не знаешь, жизни еще не могла обдумать... А я и его побольше тебя знаю, и жизнь лучше понимаю... Я должна была, я обязана была сблизить тебя с отцом и самой стоять поближе к сердцу мужа, переломить себя... Так не расхваливай меня, не превозноси: я этого не заслуживаю.

Отношения между мужем и женою вконец испортились, когда в деревню приехали сыновья Степана Михайловича, молодые офицеры. Но в первое время их приезда все шло довольно гладко.

Степану Михайловичу не приходилось давать наставлений своим сыновьям, как обращаться с мачехой, – они были вполне вышколены: почтительно расшаркивались перед нею, подходили к ее ручке, называли ее *chere maman*⁵, умели вести беседу с отцом без излишней живости, – одним словом, в точности исполняли все требования светской вежливости и сыновнего почтения по этикету того времени. Однако после нескольких дней своего приезда, увлеченные привлекательностью и добротой мачехи, молодые люди стали все чаще искать ее общества. Этому сближению помогало и то, что усадьба Бухоново лежала в стороне от большой дороги и еще далее от какого бы то ни было, хотя бы даже маленького, уездного городишки; соседей было мало, да и те летом редко заглядывали в поместье деда. И вот оба брата, Иван и Николай, их сестра Саша (моя мать) и их мачеха без предварительного соглашения между собою стали вместе собираться каждый раз, когда хозяин дома уезжал по делам. Тогда они весело проводили время вчетвером и точно так же прерывали оживленный разговор на полупhrазе и разбегались по разным комнатам, когда раздавались шаги деда или еще издали звенел колокольчик, напоминавший о его возвращении.

Но это невинное времяпрепровождение было внезапно грубо нарушено. В доме был орган; когда однажды хозяин куда-то уехал, Марья Федоровна приказала горничной вертеть ручку органа, и молодые люди так увлеклись танцами, что не заметили его возвращения. Разыгралась отвратительная сцена: муж в неистовстве топал ногами на жену, кричал, что «она отняла у него родных детей, что она обольщает пасынков», и уже бросился к ней с поднятыми кулаками, но сыновья загородили ее от него, упали перед отцом на колени, целовали его руки, умоляли пощадить ее. Но это только вызвало в дедушке неистовый взрыв ревности и негодования, и он начал осыпать непечатного бранью и сыновей и жену. И бог знает, чем бы все это кончилось, если бы в эту минуту не раздался под окнами звон бубенцов и колокольчика. Приехавшим гостем оказался Николай Григорьевич Цевловский.

Дед был до крайности любезен с моим покойным отцом и упросил его подольше погостить; рады этому были и остальные, так как понимали, что отвратительные семейные сцены при нем не могут возобновиться.

⁵ дорогой маменькой (*франц.*).

Николай Григорьевич, только что поселившийся в имении своих покойных родителей, в селе Погорелом, оказался самым близким соседом дедушки. После первого своего визита в Бухоново Цевловский посетил еще несколько раз дедушку и очень скоро сделал формальное предложение его дочери. Получив согласие, он стал торопиться со свадьбой, говоря, что он желает, чтобы на ней присутствовали братья невесты, которые уже начали поговаривать о своем отъезде. Спешка со свадьбой вполне совпадала и с желаниями дедушки, вероятно, потому, что он хотел поскорее сбить с рук всех своих детей, нарушивших заведенный в доме порядок.

– Ну, что же, мамашечка, блестящий бал был на вашей свадьбе? Все так происходило, как вам было обещано? – спросила я матушку. – И «он» с гитарой в руках и на коленях перед вами воспевал вашу красоту?

– Ах ты дрянь, – закричала на меня мать, хотя у меня уже были в то время свои дети. – Как ты смеешь говорить «он», когда дело идет о твоём покойном отце!

Хотя из воспоминаний матушки о старине видно было совершенно ясно, что она весьма не одобряла поведения дедушки и отношения его к детям и жене, хотя она впоследствии сильно прониклась идеалами 60-х годов, но она до конца жизни сохраняла многое из старинных понятий и взглядов. Одно из главных житейских правил, которым она всегда руководилась, состояло в том, чтобы немедленно «обрывать» своих детей, когда кто-нибудь из них, по ее понятию, «забывался», то есть говорил и делал не так, как она находила это нужным. При этом она ни малейшего внимания не обращала на то, были ли ее дети малолетними или совсем немолодыми людьми, происходило ли это в кругу домашних или в большом обществе. Матушка была убеждена в том, что такое зло нужно пресекать немедленно. Но, резко оборвав кого-нибудь из нас, она после этого не дулась на нас, не ворчала, а продолжала разговаривать с нами как ни в чем не бывало в самом благодушном тоне. И мы, ее дети, совершенно привыкли к этому вздергиванию нас от времени до времени. Будучи взрослыми и сказав что-нибудь не так, как у нас это допускалось домашними обычаями, кто-нибудь говорил ей: «Ну, мамашечка, а разнос?... Вы и забыли? Раскатайте-ка его хорошенько!..» Если матушка была в веселом настроении, это сходило с рук, а если в дурном, то за этим следовали нотации продолжительнее обыкновенного, и тогда уже доставалось не только тому, кто провинился, но еще более тому, кто осмеливался учить ее, как поступать с провинившимся.

– Дорогая, не сердитесь... расскажите же про вашу свадьбу, – приставали мы к ней.

– Что же, свадьба была богатая! За неделю верховые разосланы были с приглашениями. Но не было ни гитары, ни танцоров со шпорами, кроме моих братьев-офицеров. Мы с Марьей Федоровной много танцевали и веселились, но только все почти в своей компании, то есть с моими братьями и Николаем Григорьевичем. Когда наехали гости, я просто была поражена: увальни какие-то, медведи! Свадьба моя дорого обошлась моему отцу и принесла ему только одни неприятности: огорчали его гости, огорчали жена и сыновья, да и мы с Николаем Григорьевичем не доставили ему особенного удовольствия... Ах, детушки, не понравились бы и вам помещики того времени! Конечно, вы не стали бы, может быть, винить их за то, что они были совсем какими-то неотесанными... А я просто не могла смотреть на них без смеха. Но они поражали меня не только своею неуклюжестью. Хотя я до своей свадьбы совсем не бывала в обществе, но все же поняла, что большая часть их были люди грубые, необразованные, а шутки, остроты и намеки их были до невероятности неделикатны и даже грязны. Николай Григорьевич резко выделялся среди них и манерами и разговорами. Нужно вам сказать, что, несмотря на свою застенчивость, я уже до свадьбы перестала дичиться своего жениха и разболтала ему обо всех институтских делишках. Потом-то я, конечно, поняла, что он выказывал интерес к моим рассказам только для того, чтобы возбудить мое доверие к нему, – ведь ни о чем другом я и говорить-то тогда не могла. Он знал фамилии моих любимых подруг, каждой классной дамы, знал характеристику и прозвище каждой из них, запомнил, в чем различие между «мовешками» и «парфетками», «подлипалами» и «славнушками», «отвратками» и «подхалимками».

– Смотрите, смотрите, – говорил он мне, указывая на помещицу очень непрезентабельного вида, видимо желавшую к нам подойти, – к нам приближается «змея подколотная» (прозвище одной моей классной дамы), – скорей убежим от нее на другой конец... – И он, не прекращая танца, неся со мной на другой конец залы. Я хохотала до упаду... Подходит мой отец и, обращаясь к Николаю Григорьевичу, спрашивает его, чему мы так смеемся. Тот был в таком веселом настроении, что, не меняя тона, отвечал ему: «Да за нами неслась целая стая „мовешек“, „фурий“ и „змей“...»

– Что же это значит?

– Это все Шурочкины институтские приятельницы.

И, не обращая внимания на моего отца, он продолжал шутить в таком же роде. Я от удовольствия прыгала, смеялась и тоже забыла о батюшке. Серdito пожимая плечами, он уходил от нас недовольный и подходил к другой группе, где его жена, оживленно болтая, танцевала с одним из его сыновей или отдыхала после танца, окруженная гостями, которые засыпали ее своими глупыми комплиментами. Но вот пробирается он к наиболее почтенным гостям, а кто-нибудь из них кричит ему: «Ишь ты, старый греховодник, какую себе кралю подцепил!» или: «Ах ты, старый хрен, поди, как у тебя под сердце-то подкатывает, что все около твоей молодухи увиваются!»... А то вдруг кто-нибудь его окликнет, точно за делом, а сам закричит ему на всю залу: «А ведь женка-то от тебя, старого, сбежит, как пить даст, сбежит!»

Когда мы потом с мачехой вспоминали о свадьбе, мы много толковали о том, как все это было тяжело для отца. Недаром после этого он так круто изменился к своей жене.

– Мамашечка! – вдруг спросила матушку одна из моих сестер. – Ко времени вашей свадьбы вы уже, конечно, успели влюбиться в отца?

– Никогда в жизни я не задавала себе таких глупых вопросов! Все эти ваши слова о страстной любви, о неземных увлечениях – только одни пошлости, и больше ничего... Начитались вы глупых романов, вот такие фразы и сыплутся у вас, как горох из мешка. Вы считаете даже, что счастливый брак не может быть без страстной любви, а я нахожу ее только помехою. Достаточно я видала браков по страсти... Вот хотя бы взять Марию Васильевну (наша дальняя родственница). Родители отказали ее жениху. Она отчаянно убивалась и в конце концов обвенчалась тайком. А через полтора года муженек уехал по делам, да и был таков, она же с ребенком осталась без куска хлеба и возвратилась в родительский дом. Я очень глупо вышла замуж, сознаюсь, вышла замуж только из-за бала, и что же? Прожила с мужем двадцать лет душа в душу, до самой его смерти... Нас чуть не вся губерния знала, и все говорили, что другую, более счастливую пару, чем мы с Николаем Григорьевичем, трудно найти в нашей местности.

Это было вполне справедливо: помещики и помещицы, хорошо знавшие моих родителей, вспоминая прошлое, а следовательно, и тот разврат, который повсеместно царил среди них во время господства крепостного права, указывали, как на совершенное исключение, на моих родителей.

Лично я не знала ни дедушки, ни его второй жены, – оба они умерли гораздо раньше моего появления на свет. Все, что я описываю здесь о них, я узнала от близких мне лиц, и более всего из постоянных рассказов о них моей матери.

Дедушка Степан Михайлович был помещиком средней руки; он имел два имения и, кроме того, владел еще маленьким фольварком, Васильковым, находившимся верстах в восемнадцати от Бухонова; крепостных у него было более ста душ. Жил он в большом доме, но так плохо поддерживал постройку, что она после его смерти совсем развалилась, а скоро затем была растаскана по бревнам. Несмотря на это, он вел хозяйство на широкую ногу, держал огромный штат прислуги: «девок», лакеев, казачков, кучеров, имел и выездных лошадей, и несколько экипажей, но свободных денег, как это было тогда и с другими помещиками, у него никогда не было. Как только в них являлась необходимость, приходилось экстренно продавать что-нибудь из имения: какой-нибудь лесок, нескольких лошадей или коров и крестьян

целыми семьями. За вторую женою дедушка не взял почти никакого приданого, кроме домашней обстановки.

Марья Федоровна лишилась матери в самом раннем детстве. Когда ей исполнилось лет восемь-девять, отец отдал ее в интернат одного из самых модных московских пансионатов. Он и раньше вел беспутный образ жизни, а сделавшись вдовцом, стал так кутить, что привел в полное расстройство свое, когда-то хорошее, имение. После его внезапной смерти опекуном Марьи Федоровны, в то время еще не кончившей пансионского курса, назначен был муж ее двоюродной сестры. Он гораздо более заботился о себе, чем об опекаемой им бироте. Ко времени окончания воспитания Марьи Федоровны у нее уже не было ни имения, ни даже дома: все было продано с молотка, все вырученные деньги, по словам опекуна, пошли как на покрытие громадных долгов ее отца, так и на необходимые траты по ее воспитанию. Впоследствии, однако, оказалось, что имение и дом были проданы подставному лицу и через несколько лет сделались собственностью опекуна.

По выходе из пансиона Марьи Федоровны ее, как бы из милости, взял к себе опекун. Как на величайшую свою заслугу он указывал на то, что сохранил для сироты прекрасную, по тем временам, обстановку ее родительского дома и платья ее матери. Степан Михайлович Гонецкий, встретив несколько раз молодую девушку, сделал ей предложение, но она отказала ему.

Местные обыватели упорно говорили, что после того, как Гонецкий получил отказ от Марьи Федоровны, он вошел с опекуном в такую сделку: если тот постарается склонить молодую девушку на брак с ним, он, Гонецкий, не потребует от него отчета по опеке, за который ему приходилось сильно побаиваться, не поднимет дела о незаконной продаже имения Марьи Федоровны.

Состоялось ли такое соглашение между дедушкой и опекуном, осталось неизвестным даже для Марьи Федоровны, но она рассказывала моей матери, что с тех пор, как она отказала дедушке в своей руке, жизнь в доме опекуна сделалась для нее невыносимой. Его жена, то есть ее двоюродная сестра, их взрослые дочерни сам опекун чуть не ежедневно настойчиво убеждали ее принять предложение дедушки. Так как она не соглашалась на это, то они стали возмутительно обращаться с нею и попрекали ее каждым куском. Наконец опекун объявил ей, что он нашел место в губернском городе и не может взять ее со своею семьею, так как находится в стесненном материальном положении. Впоследствии оказалось, что он никуда не собирался уезжать, но молодая девушка пришла в отчаяние, не зная, что ей делать с собой. Кроме двоюродной сестры, жены опекуна, у Марьи Федоровны не было на свете ни одного близкого лица, с кем бы она могла посоветоваться, и она не нашла никакого другого выхода из своего положения, как принять предложение Гонецкого, когда тот повторил его.

Рассказывая моей матери о своей двухлетней брачной жизни, Марья Федоровна говорила ей, что Степан Михайлович до приезда его детей никогда не был с нею ни жесток, ни груб; напротив, он старался окружить ее полным довольством, а когда отлучался в город, привозил ей щедрые подарки. Но, несмотря на это, жизнь с мужем становилась для нее все невыносимее. Пока она ожидала ребенка, она кое-как еще мирилась с своим положением, но когда она потеряла и эту надежду, она решила уйти в монастырь. Однако она боялась приступить с этой просьбой к мужу, и ее стала душить тоска, которую она не могла скрыть даже от него. Степан Михайлович стал часто заставлять ее в слезах и журил ее, говоря, что каждая на ее месте только радовалась бы, живя в таком довольстве, что пусть она скажет ему, чего она еще хочет, и он все сделает, лишь бы она не тосковала. Эти утешения совсем не утешали ее, и всю надежду она возлагала на приезд из института мужниной дочери Александры, на то, что она будет жить вместе с ними, и ее жизнь таким образом скрасится присутствием молодой падчерицы, которой она постарается быть родною матерью. Но и эти мечты несчастной женщины не осуществились.

Поспешные приготовления к свадьбе моей матери, частые посещения Бухонова моим отцом в качестве жениха – все это сдерживало домашние сцены между мужем и женою. Впрочем, они не могли происходить и потому, что дедушка в это время редко бывал дома. Чтобы дать хотя самое скромное приданое дочери и сыграть свадьбу, соответственную его положению, ему часто приходилось ездить как в город, так и в свое другое имение. Это дало возможность молодежи по целым дням оставаться вместе. Хотя дедушка теперь мало сидел дома, но он не мог не заметить, что и мой отец, сам по себе не будучи уже в то время очень молодым человеком, примкнул к кругу молодежи и что все они одинаково относились к Марье Федоровне с большим вниманием. Матушка, рассказывая о Марье Федоровне, обыкновенно прибавляла, что каждый, кто хотя несколько сблизился с нею, проникался к ней необыкновенною симпатиею. Так относились к ней и помещики, и крестьяне, и близкие и дальние, и свои и чужие. Ее привлекательная внешность вполне гармонировала с ее нравственными и умственными качествами. Будучи по натуре чрезвычайно кроткою, но живою, она в то же время была умна, находчива и внимательна к каждому.

После свадьбы моей матери крутой и властный нрав дедушки настолько обострился, что он начал уже не только придирается ко всякому пустяку, но и давать волю рукам. Жизнь молодой женщины сделалась настоящей каторгой, и она однажды бросилась на колени перед своим мужем, умоляя его отпустить ее в монастырь. Но это-то окончательно и взбесило дедушку. Его ненависть к монастырям была всем известна: в разговорах с соседями он обыкновенно приравнивал их к «непотребным домам». Просьба жены показалась ему неслыханною дерзостью, презрением к его взглядам. Он тут же избил ее до полусмерти и объявил, что вместо монастыря он на другой же день отправит ее в Васильков о.

В фольварк Васильково дедушка ссылал всех чем-нибудь провинившихся перед ним крестьян, которые должны были, смотря по времени года, заниматься рубкою дров или выкорчевыванием корней деревьев, а также косью лугов, лежащих за болотами, непосредственно примыкавшими к этому жалкому поселку. Простой народ называл Васильково «Выселками» или «Ссылным поселком». Над опальными крестьянами, которые в наказание поселены были здесь без своих семейств, надзирал особый староста, тоже простой крестьянин, единственный неопальный человек среди васильковского люда, а потому и живший здесь со своею семьею. Этот поселок состоял из сенных сараев и построек для лошадей, нескольких изб, в которых жили опальные крестьяне, и из конторы – тоже простой хаты, только несколько побольше остальных, – которая служила жилищем старосты и его семьи. Болота, бесконечные болота и топкие лужайки тянулись вокруг. Дедушка приказал поселить свою молодую жену в конторе этого поселка.

Итак, жена зажиточного помещика, жившая до тех пор в довольстве и холе, должна была поселиться в болотистой местности и жить без всяких средств, так как муж ни при ее отъезде, ни впоследствии не давал ей ни денег, ни провизии, ни скота, ни прислуги. Чтобы сделать для жены это изгнание еще более унижительным и чувствительным, дедушка в день ее отъезда встал с рассветом и, увидав на дворе телегу, в которой обыкновенно вывозили навоз, закричал на весь двор так, чтобы его могли услышать все крестьяне, находившиеся там: «В этой телеге вы вывозите навоз из хлевов, а сегодня будете вывозить навоз из моего дома!» И он приказал запрячь в навозную телегу рабочую лошадь и везти свою жену в Васильково. Затем, подозревая к крыльцу двух дворовых, которые должны были везти Марию Федоровну, он под угрозю строгого наказания запретил им класть на подводу какие бы то ни было вещи, кроме ее двух сундуков с одеждою. Когда одна из «девок» пробежала мимо него с подушками, не зная, что и это запрещено класть на воз, дедушка ударил ее по щеке со всей силы, вырвал у нее подушки и бросил их на землю.

Только что этот печальный кортеж, то есть Мария Федоровна, сидящая на сене в навозной телеге с крестьянином вместо кучера, и сзади подвода с ее сундуками, сделали несколько верст

по скверной осенней дороге, как их догнал верховой с приказанием от барина немедленно вернуться назад. Это известие было принято за знак того, что барин положил гнев на милость и позволяет своей ни в чем не повинной жене возвратиться снова к нему. Оба крестьянина, сопровождавшие Марью Федоровну, соскочили с телег и бросились целовать ее руки. Вышли из хат и крестьяне навстречу своей госпоже, плакали от радости и крестились, приговаривая: «Слава богу, слава богу». Но когда Марья Федоровна подъехала к дому, дедушка вышел на крыльцо и закричал жене, чтобы она не смела ни на шаг никуда отлучаться из Василькова, чтобы она безвыездно проживала там, что, если она осмелится нарушить его приказание, он отправит ее туда, куда Макар телят не гоняет.

Вторичный отъезд Марьи Федоровны, видимо, вызвал в крестьянах душевное сокрушение о своей бывшей барыне, которая была с ними всегда приветлива и добра: они выходили из своих хат с образами, крестили и благословляли ее, рыдая навзрыд, целовали ее руки, кланялись земно. Бабы связывали ноги и крылья куриц и совали их в телегу, ставили туда лукошки с яйцами, узелки с ковригами хлеба. Одна баба выбежала с подушкой в руке и, подсовывая ее под голову полуживой Марьи Федоровны, сказала: «Она у меня чистенькая, барынька, не побрезгуй... Дочке в приданое готовила...» А старуха, сняв с шеи кипарисовый крестик на снурке и надевая его Марье Федоровне, проговорила, обливаясь слезами: «Не обессудь, болезная... Ничего нетути у самой... от покойного сынишки, младенца Ванюши, он тебя сохранит своими чистыми молитвами».

Помещичий дом в Бухонове стоял на невысокой горе, внизу которой расстилалось прекрасное озеро на десять верст в длину. На противоположном его берегу, наискось, но еще на более возвышенном месте, стоял дом моих родителей Цевловских. Из Бухонова в Погорелое нужно было сухим путем ехать в объезд верст пятнадцать, а по озеру крестьяне в своих душегубках переезжали из одного имения в другое часа в полтора. Мещанин, бывший по своим делам в Бухонове в Момент изгнания Марьи Федоровны, возвращался в свою лавку, находившуюся недалеко от Погорелого, и завернул к моей матери, чтобы рассказать ей все, что только что произошло с ее мачехой. Таким образом, мои родители очень скоро узнали о случившемся в Бухонове. Мой отец стал сейчас же торопить людей, чтобы они запрягли бричку и готовили подводы под вещи, а матушку просил как можно скорее укладывать вещи и провизию для Марьи Федоровны, необходимые в хозяйстве на первых порах. Но вдруг в самый разгар этих сборов матушке пришло в голову, что родной отец может проклясть ее за помощь мачехе. Тогда эти родительские проклятия были в большом ходу, и каждый боялся пуще смерти накликал их на себя. Она бросилась к мужу и передала ему свою мысль. Но он начал стыдить ее за то, что она в такую тяжелую для Марьи Федоровны минуту более думает о себе и о проклятиях взбалмошного старика, чем о невинно погибающей женщине, которая выказала ей столько ласки и любви.

– Да, – говорила нам при этом матушка, – хотя я во многих взглядах расходилась с вашим отцом при его жизни, но всегда понимала, особенно же ясно сознаю это теперь, что я и в умственном, и в нравственном отношении была ниже его. Вам трудно поверить, но клянусь вам всеми святыми, что ваш отец уже в 30-х и 40-х годах, следовательно, в эпоху злейшего крепостничества, проводил те же гуманные идеи, какие разделяете и вы. Когда я что-нибудь начинаю делать, я всегда думаю: а как бы Николай Григорьевич взглянул на это, что бы он сказал?... Да, он был лучший из людей, которых я знала!

И вот матушка с отцом торопили людей, чтобы они скорее клали на подводы все, что было приказано: посуду, перины, подушки, провизию, – и сами немедленно отправлялись в дорогу. Из Погорелого в Васильково дорога была короче и лучше, чем из Бухонова; к тому же мои родители ехали быстро и не останавливались, а Марью Федоровну везли шагом-, и ее приходилось выносить из телеги и класть на лавку в нескольких попадавшихся по дороге хатах, – так плохо чувствовала она себя. Вследствие этого, когда тележка Марьи Федоровны

въехала во двор Василькова с одной стороны, с противоположной внеслась туда же бричка моих родителей, запряженная тройкой.

Марью Федоровну перенесли на руках в экипаж родителей, пока на скорую руку приготавливали для нее комнаты, точнее сказать – избу, или контору, перегороденную на три клетушки.

Ссылка на болото потрясла молодую женщину своею неожиданностью, проводы же крестьян тронули ее до глубины души, и ей стали приходить мысли, которые раньше не посещали ее. Она горько упрекала себя за то, что никогда не думала хотя чем-нибудь облегчить жалкое положение крестьян, и, по ее словам, выходило, что она «задаром приняла их ласку, жалость и любовь к себе». «Правда, я не могла многого сделать для них, но должна была пытаться хоть защищать их. Конечно, Степан Михайлович – человек суровый, – рассуждала она., – но до последнего времени он любил меня по-своему... Может быть, если бы я стала просить его за ссыльных в минуты, когда проходили его вспышки, он, пожалуй, и не разлучал бы их с семьями либо прощал бы их через месяц-другой. Если бы он даже обругал меня за то, что я суюсь не в свое дело, все же у меня на сердце не было бы так тяжело... А я думала только об одном: чтобы не перечить ему, чтобы лишний раз не слышать его наставительного тона, значит, делала только то, чтобы мне самой было спокойнее».

Мысль, что к ней, ничего не сделавшей хорошего крестьянам, они отнеслись с таким сочувствием, – жила в ней всю жизнь. На свое изгнание она стала смотреть как на перст providения, указывавший ей быть матерью, утешительницею и помощницею ссыльных крестьян, с которыми судьба ее столкнула. Будучи женщиной религиозной, она придавала чудотворное значение кипарисовому кресту, который надела ей на шею старуха, когда ее отправляли в ссылку; она верила, что покойный младенец Ванюша перед престолом всевышнего действительно будет ходатайствовать за нее., Как на явный признак такого заступничества, она указывала на то, что мои родители, мало знавшие ее до этого несчастья и которым она, собственно, и родней-то настоящей не приходилась, явились ее истинными благодетелями и друзьями.

– Вы знаете, детушки, – говорила нам мать, – я в павлиньи перья наряжаться не люблю, представлять себя лучше, чем я была и есть, – не в моем характере, а потому и скажу вам, что нередко, когда ваш отец заводил разговоры с Марьей Федоровной на серьезные темы, я не все понимала, а когда они говорили о помещиках, о крепостных, о воспитании детей, мне не все было по нутру. Мачеха в ту пору как-то больше, чем я, подходила к его взглядам. Я же все эти идеи воспринимала мало-помалу, медленно, многие из них усвоила только после его смерти, а кое-что мне стало ясно уже из споров и разговоров с вами и вашими знакомыми, когда вы повзросли. При жизни же вашего отца я частенько огорчала его непониманием многого, оскорбляла его чистые помыслы, его великую душу. – И при этом воспоминании матушка залилась слезами.

– Мамашечка, ведь вы же хорошая! – утешали мы ее, тронутые ее искренностью. – Ведь если вас всю жизнь любил такой человек, как отец, значит, он видел, что вы по натуре – человек очень хороший, только у вас были некоторые привычки того времени...

– Вот именно, привычки... Да, привычки были дурные, по нынешним временам даже постыдные, – говорила она, утешенная нашими словами, зная, что мы говорим искренно и можем быть даже грубоватыми с нею, но не способны льстить в угоду ей.

– Расскажите же, голубчик, – в чем и как выражались у вас идейные размолвки с отцом?

– А вот, бывало, Марья Федоровна говорит ему что-нибудь в таком роде: «Как это обидно, что для нас, помещиков, нужно какое-нибудь тяжелое горе для того, чтобы мы сделались людьми»...

– Да не всех этому и горе научает, – отвечает ей Николай Григорьевич, – наши помещики глубоко убеждены в том, что только они одни люди, а крестьяне – скоты, и что с ними как со скотами и поступать надо.

Подобные рассуждения их обоих меня всегда злили, и я начинала доказывать им, что крестьяне действительно часто поступают как скоты, приводила примеры, как они зверски убили того или другого помещика, как надули, обокрали и т. д.

– А от кого ты все это слышишь? – возражал муж. – От тех же помещиков! Но тебе не безызвестно, как они до смерти засекают крестьян, до какой нищеты доводят их! Что же удивительного, что крестьяне зверски убивают своих тиранов.

А то, бывало, с сердцем прибавит:

– Удивительно, Шурочка, что в тебе, именно в тебе, так крепко засела крепостная закваска! С раннего возраста ты воспитывалась в институте, крестьяне лично не сделали тебе ничего дурного, ты еще и теперь ребенок, жизни совсем не знаешь, а рассуждаешь как заправская помещица!

Перед отъездом из Василькова мои родители обещали часто навещать Марью Федоровну и ее умоляли приезжать к ним в Погорелое. Но она испугалась даже этой мысли, утверждая, что Степан Михайлович не запретил и не может запретить моим родителям бывать у нее (хотя они могут уже и этим навлечь его гнев на себя), а ей он прямо приказал безвыездно жить в Василькове, объявил, что, если она нарушит его волю, он еще более ухудшит ее положение.

Все эти разговоры шли в крошечных комнатах, в которых с утра до вечера толкались люди, занятые отделкою и чисткою жилища Марьи Федоровны; следовательно, они слышали все, о чем говорили господа. В день отъезда, когда уже был подан экипаж моих родителей, все «ссылные», а также семья старосты и люди отца, привезенные им для услуг, собрались на дворе и при появлении моих родителей бросились на колени перед ними, упрашивая их, чтобы они приезжали к Марье Федоровне и чтобы она навещала их; при этом они клялись, что никто из них никогда не проговорится об этом «старому барину».

Хотя Марья Федоровна была уверена в том, что крестьяне свято сдержат свое слово, но она не сомневалась, что ее муж, по крайней мере впоследствии, когда она стала часто ездить в Погорелое, знал об этом, но не показывал вида, что это ему известно, и держал себя так, точно жены его никогда не существовало на свете: он никогда не писал ей, не делал относительно ее никаких распоряжений, ничего не посылал ей. Но о своем несчастном фольварке он не забывал: он по-прежнему ссылал туда провинившихся крестьян, а некоторых из раньше сосланных приказывал возвратить. Вообще дедушка с момента изгнания своей жены ни разу не видал ее вплоть до самой ее кончины.

До первых родов моей матери мои родители часто посещали Марью Федоровну, но она долго не рещалась навещать их. Когда они приезжали в Васильково, большая часть времени проходила у них в совместном чтении. Отец читал вслух Пушкина, а также сочинения Руссо и Вольтера в подлиннике, так как все трое прекрасно знали французский язык.

Рассказывая нам о совместном чтении втроем, матушка при этом чистосердечно признавалась, что как это чтение, так и рассуждения отца по поводу прочитанного несравненно более живо воспринимались ее мачехою, чем ею, может быть потому, что она была еще очень молода. К тому же институтское воспитание того времени, не давая ни знаний, ни малейшего умственного развития, в то же время притупляло наблюдательность, а Марья Федоровна была и старше ее на четыре года, и воспитывалась не в закрытом заведении, а в хорошем пансионе и имела возможность думать и наблюдать все ее окружающее.

Марья Федоровна, по словам моей матери, была в неописанном восторге от этих чтений, которые открыли ей, как она говорила, новый мир. Когда отец уезжал, она на время удерживала у себя книги, переписывала то, что ей особенно нравилось, и, обладая замечательною памятью, произносила наизусть с необыкновенным выражением большие отрывки из названных писателей. Она вообще вела в Василькове деятельный образ жизни: серьезно занималась своим маленьким хозяйством, желая извлечь из него наибольшую выгоду, в то же время постоянно посещала ссылных крепостных, с которыми сроднилась душою, прекрасно ознакомившись с

нуждами каждого из них, шила им рубахи, лечила их, делилась с нуждающимися всем, чем могла, призывала всех их к себе каждое воскресенье, зажигала восковые свечи у образов и лампадки и читала им вслух молитвы и Евангелие.

Не прошло и нескольких недель после водворения на новом месте Марьи Федоровны, как она стала убеждать моих родителей навестить ее мужа. Отправляясь к бабушке, мои родители думали, что он или не примет их за участие их к его жене, или что после этого визита им уже не придется более навещать его. Но дедушка встретил их чрезвычайно радушно и в продолжение всего дня, который они пробыли у него, не проронил ни слова о своей жене.

Матушка на другой же день отправилась к мачехе, поджидавшей ее с особенным нетерпением. Когда она на этот раз вошла в горницу к мачехе, она, к крайнему своему удивлению, застала у нее местного священника, весьма доброго и умного человека. Этот визит бедного деревенского попа, находившегося в материальной зависимости от местных помещиков, был смелым и благородным поступком с его стороны, а потому Марья Федоровна сказала падчерице, чтобы она не стеснялась присутствием батюшки и рассказала при нем все, как было. Когда матушка уверяла ее, что о ней не было произнесено ни слова, Марья Федоровна вытащила свой заветный крестик, перекрестилась, поцеловала его с благоговением и произнесла: «Это меня защищает покойный младенец Ванюша своими чистыми молитвами...» Священник заметил при этом: «Степану Михайловичу небезызвестно, что порядочные люди нашей округи полюбили Марью Федоровну за ее кроткое обхождение со всеми; он знает и то, что Николай Григорьевич – не последний человек: хотя он и очень недавно поселился у нас, но зарекомендовал себя как образованный помещик; к тому же он состоит в большой дружбе с предводителем дворянства и с живущим за границею князем Г. – богатейшим человеком с большими связями⁶. Вот Степан Михайлович и принимает все это в расчет: боится еще более теснить свою супругу, чтобы не нажить себе „истории“».

С появлением в доме моих родителей маленького существа жизнь получила для Марьи Федоровны новый интерес. Как только ей дали знать о наступивших родах падчерицы, она уже не могла более думать об угрозах своего мужа и в первый раз отправилась в Погорелое. К тому же, на ее счастье, Степан Михайлович наотрез отказался быть крестным отцом своего первого внука. Его обязанность должен был взять на себя кто-то другой, но зато Марья Федоровна могла быть крестною матерью.

Своего крестника и внука она стала обожать с момента его появления на свет божий. Она не отходила от него, была в восторге, когда ей приходилось спать с ним в одной комнате, и подбегала к нему каждый раз, когда тот начинал пищать, хотя в детской находилась кормилица новорожденного. С тех пор Марья Федоровна стала часто бывать у родителей и гостила у них по неделям, так как страстно привязалась к новорожденному, а когда тот впервые произнес «баба» (бабушке в это время шел двадцать первый или двадцать второй год), ее восторгам не было пределов.

После родов первого ребенка матушка скоро опять забеременела, и Марья Федоровна стала умолять моих родителей отдать ей на воспитание их первенца. Но отец не согласился на это, прежде всего потому, что находил болотный воздух Василькова вредным для здоровья ребенка. Число внуков Марьи Федоровны увеличивалось с каждым годом, и она всех их обожала, нянчила, обшивала, забавляла.

Марья Федоровна умерла очень молодою, а именно-двадцати семи – двадцати восьми лет, прожив в Василькове лишь шесть лет. Случилась ли эта преждевременная смерть от болотного воздуха поселка, или от того, что неудачный брак истерзал ее душу, от того ли, что, посещая Погорелое, она не разбирала погоды, но скорее всего от всех этих причин вместе она уже через

⁶ Возможно, речь идет о князе Н. Б. Голицыне, дилетанте-литераторе и музыканте, одном из основателей петербургского Общества любителей музыки. Он же, по-видимому, имеется в виду в главе III.

три-четыре года после своей ссылки стала заметно хиреть, кашель все усиливался, и она таяла как свечка.

Еще в то время, когда Марья Федоровна только что разошлась со своим мужем, мой отец известил об этом ее пасынков, Ивана и Николая Гонецких. Они немедленно, тот и другой, стали писать ей нежные письма, посылали ей подарки и деньги, и эти добрые отношения к ней с их стороны не прекращались до ее смерти. Мало того: года через два после разрыва мачехи с мужем они приехали летом в Бухово и, прежде чем отправиться к отцу, заехали к ней. Не желая, вероятно, чтобы отец узнал об этом от других, они сами сказали ему, что заезжали в Васильково. Они передавали сестре (то есть моей матери), что отец с удивлением взглянул на них, ничего не сказал и сейчас же перевел разговор на другую тему. А когда моя мать написала своим братьям, что на выздоровление Марьи Федоровны нет никакой надежды, они, несмотря на обязанности по службе, на ужасающую осеннюю распутицу, несмотря на отсутствие тогда железных дорог, выхлопотали себе короткий отпуск и приехали навестить свою мачеху, но застали ее уже в гробу.

Перед своей кончиной Марья Федоровна подозвала к себе матушку и просила ее после смерти не снимать с ее шеи кипарисового крестика, говоря, что он принес ей большое счастье: дал ей возможность сродниться с семьей моих родителей, прожить человеческою жизнью последние годы. Когда она скончалась, мой отец отправил верхового к Степану Михайловичу с известием о кончине его жены, но лишь только успели «обрядить» покойницу, как приехали ее пасынки, прискакавшие в Васильково на перекладных. Скоро после них в комнату усопшей вошел и дедушка. Первое, что он увидал, – всех своих троих детей, стоявших на коленях вокруг покойной и горько рыдавших, а ссыльные крестьяне окружали ее маленький домик снаружи и набожно молились. Дедушка подошел к гробу, сделал земной поклон, поцеловал руку усопшей и, ни с кем не разговаривая, ничего не спрашивая, не здороваясь и не прощаясь, тотчас же вышел из комнаты. Он не был на похоронах и перестал куда бы то ни было выезжать из своего поместья. Очень скоро после смерти Марии Федоровны пожар уничтожил все постройки Василькова; ссыльные крестьяне были возвращены на свои места, и больше туда никого не ссылали.

Дедушка пережил свою вторую жену лишь на несколько месяцев.

Глава II. Мой отец; его военная служба

– Влияние на его умственное развитие заграничных походов, жизни в Варшаве и любви к чтению. – Жизнь моих родителей в уездном городе. – Няня и ее значение в нашей семье. – Cholera 1848 года. – Появление чужого ребенка. – Смерть отца. – Разорение семьи и ее несчастья. – Окончательный переезд в деревню. – «Чертов мост» и дорожные приключения

Когда моя мать, Александра Степановна Гонецкая, в 1828 году вышла замуж, ей было шестнадцать лет, а мой отец, Николай Григорьевич Цевловский, был более чем вдвое старше ее – ему шел тридцать восьмой год.

Члены моей семьи – мать, няня, мои старшие братья и сестры – вспоминали покойного отца не иначе, как с чувством глубочайшего благоговения и с горячею любовью, вторая же моя сестра Саша (во время смерти отца она была еще подростком) чуть не умерла от горя, лишившись его. Это благоговение перед памятью отца крайне удивляло многих наших родственников, а тем более соседей по имению, так как факт разорения отцом своего семейства был у всех налицо. Из всей нашей семьи только самый младший ее член, то есть я одна, долго скептически относилась к восторгам, с которыми у нас говорили о покойном отце. Это происходило отчасти оттого, что после смерти отца я осталась четырехлетним ребенком, совсем его не помнила и лишь смутно представляла себе даже его внешний облик, а отчасти и потому, что, когда я стала доискиваться причин культа его памяти, я была еще очень молодой девушкой. Я только что кончила тогда свое образование и после долгой разлуки с семьей приехала домой. Это было в освободительную эпоху 60-х годов, когда молодежь особенно критически относилась к людям крепостнического периода. С юным жаром и задором, вся погруженная в стремления и идеи этой кратковременной, но лучезарной эпохи, не зная еще ни жизни, ни людей, не получив достаточно солидного образования, а следовательно, и не имея возможности выработать правильное понимание исторической перспективы, я недоверчиво спрашивала себя и других: где и как мог отец приобрести и сохранить лучшие идеалы своего времени, как это особенно настойчиво утверждала моя любимая сестра Саша. Ведь он с ранней юности до женитьбы был военным, военная же среда того времени едва ли могла этому содействовать? Я высказывала даже уверенность (редко кто в молодости лишен самонадеянности), что жизнь в полку должна была наталкивать отца лишь на кутежи и попойки или, по крайней мере, сделать его светским человеком, чему могли содействовать его представительная наружность (это было видно по его дагерротипу⁷) и хорошие материальные средства за все то время, пока он был холостым. Но более всего мой скептический взгляд на отца поддерживался тем, что он владел крепостными: в освободительную эпоху мы, молодежь, с ужасом и отвращением смотрели на всех, так или иначе мирившихся с рабством и лишь по воле правительства порвавших с ним. Истинно идейный и гуманный человек, по нашему мнению, должен был освободить крестьян по собственной инициативе, а не по приказанию правительства.

Как-то однажды сестра Саша попросила меня пересмотреть с нею старый сундук, наполненный книгами, оставшимися после отца и испещренными на полях его замечаниями, и тетрадями, исписанными его рукою, которые она свято хранила и перечитывала. Когда я пересмотрела все это, я могла задавать относительно отца уже более определенные вопросы своим близким. Собранные мною сведения вполне совпадали с тем, что я нашла в его набросках и

⁷ фотографии (от франц. Daguerre и греч. typos).

рассуждениях по поводу того или другого явления жизни, а также и с его служебным формуляром, сохранившимся у меня до настоящей минуты.

Мой отец был православный, как и его отец, но его мать была католичка и истая полька. Овдовев уже в ранней молодости, она вложила всю душу в воспитание трех сыновей: Максима (прозванного Максом), Андрея и младшего Николая (моего отца). Под ее бдительным надзором с ними занимались гувернеры-иностранцы. Оба старшие сына не обнаруживали любви к занятиям, и она отдала их в корпус, младшего же, своего любимца Николая, она оставила дома и дала ему блестящее, по понятиям того времени, первоначальное образование, для чего на первом плане требовалось усвоение нескольких иностранных языков. Сама же лично она более всего старалась привить ему страстную любовь ко всему польскому и к чтению книг. Она вполне достигла своей цели.

Мой отец, родившийся в 1790 году, лишился матери, когда ему было четырнадцать лет, после чего он вступил юнкером в петербургский уланский полк; лишь через несколько лет он был произведен в офицеры и нес военную службу почти до женитьбы. Хотя его служебный формуляр испещрен упоминаниями о походах и войнах, в которых он участвовал в продолжение всей своей двадцатичетырехлетней военной карьеры, но это не мешало ему много читать и тратить немало денег на покупку лучших произведений польской, французской и русской литератур. Его рассуждения и заметки, которые мне удалось прочесть на русском и французском языках (большая их часть была набросана на польском языке, которого я не знала), вполне убедили меня в том, что он не только усвоил лучшие идеи французских энциклопедистов XVIII и писателей XIX века, вроде Мицкевича (который, судя по восторженным отзывам отца, оказывался его любимым поэтом), но что он был страстным поклонником гуманных идей и по своему образованию стоял целою головою выше того общества, среди которого вращался. В его отзывах о только что прочитанных им книгах меня поражали не только его вдумчивость, но для того времени даже оригинальность мысли, живость впечатлений и наблюдательность, которые особенно сказывались в его рассуждениях по поводу общественных и политических явлений западноевропейской жизни, а нередко остроумное сопоставление их с фактами русской действительности. Его широкий кругозор и живой интерес к общественным вопросам были результатом не только чтения серьезных сочинений, но и его преисполненной разнообразия военной службы, которая на протяжении почти четверти века бросала его то в одну, то в другую европейскую страну. Он посетил не только Турцию и Молдавию, но и Пруссию, Саксонию, Австрию, Францию, два раза в продолжение некоторого времени жил в Париже и еще гораздо больше времени провел в Польше.

Мой отец начинает участвовать в походах и битвах с ранней молодости. Уже в 1805 году, то есть пятнадцатилетним юношею, он был в битве под Аустерлицем⁸ в Моравии, а через два года – в двух сражениях: при Прейсиш-Эйлау и при Фридланде⁹. С 1809 по 1811 год включительно он участвовал в кампании против турок¹⁰ и находился при осаде Браилова, Шумлы, Рущука и при взятии в плен войск турецкого визиря. В 1812 году его полк преследовал полчища Наполеона при их отступлении, а затем совершил поход через Пруссию и Саксонию и

⁸ В районе Аустерлица (старое австрийское наименование города Славко в Чехословакии) 20 ноября 1805 года на Праценских высотах произошло сражение между армией Наполеона I и союзными войсками России и Австрии под командованием Кутузова и фактическим руководством Александра I.

⁹ У Прейсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск Калининградской области) 26–27 января 1807 года произошло кровопролитное сражение между войсками Наполеона I и русской армией. Все атаки французских войск были отражены. Под Фридландом (Восточная Пруссия) 2 июня 1807 года русская армия под командованием ген. Л. Л. Беннигсена была разбита французской – под командованием Наполеона I, что сделало возможным выход французов к русской границе.

¹⁰ Речь идет о русско-турецкой войне, начатой в 1805 году Турцией, подстрекаемой французской и английской дипломатией. Войну эту Турция вела в союзе с Персией. В 1810 году русские войска одержали победу над турками близ Рущука и на левом берегу Дуная уничтожили всю армию великого визиря.

участвовал в знаменитой четырехдневной битве при Лейпциге против Наполеона¹¹, в 1814 году после нескольких сражений с французами он вместе с русскими войсками вступил в Париж, где и пережил низложение Наполеона и восстановление Бурбонов на правах конституционных монархов. Обратный поход отец совершил через Германию в Польшу, но вследствие того что в 1815 году Наполеон бежал с острова Эльбы и появился во Франции, отец должен был снова совершить поход с русскими войсками через Германию в Париж. Во время обратного похода отцу пришлось побывать в Варшаве в то время, когда уже были объявлены сначала основы польской конституции, а затем подписана и самая конституция Царства польского. Но и после этого, раньше чем выйти в отставку, он жил в Варшаве около двух лет.

Особенное значение в его умственном развитии, без сомнения, сыграли походы 1813–1815 годов, а также позднейшая жизнь в Варшаве: на его глазах, с одной стороны, совершилось обращение наполеоновской Франции в государство конституционное¹², с другой – развитие конституционной жизни в Царстве польском.

Прекрасно владея польским и французским языками, мой отец был принят в средние кружки польского общества, где он встречал писателей, художников и вообще, как показывали его заметки, вел знакомство не только с весьма образованными мужчинами, но и с женщинами, высоко развитыми в умственном отношении, попадавшимися тогда среди полек. Его наброски и рассуждения за этот период его жизни говорят о том, с каким живым интересом он относился к общественным вопросам и политике.

В то время когда жизнь в России была в полном застое, поляки Царства польского имели уже конституцию. Хотя она была неудовлетворительна во многих отношениях, но все же польское общество было оживлено выборами в сейм и разговорами о них.

«В польском обществе, – говорится у отца в одном из его набросков, – постоянно обсуждают речь императора Александра, сказанную им при открытии сейма в 1818 году, а также речи депутатов, ведут политические и философические споры, а у нас можно слышать разве как Никифор Сидорович подкузьмил своего приятеля при продаже ему коня, либо как помещик именитого рода, знатный своими связями и богатыми маестностями¹³, растлевает своих крепостных девок, либо как некий почтенный муж, отец многочисленного семейства, дабы оттягать поемный лужок, во всех присутственных местах позорит родную сестру, возводя одну клевету срамнее другой. И уже во всех гостиных непрестанно раздаются рассказы о том, как такой-то помещик за проступок одного крестьянина выдрал всех мужиков и баб своего фольварка от старика деда до пятилетней внучки. Почтенные гости внимают сему не с омерзением, а с веселием детской души, с апробацией¹⁴, точно им повествуют о подвигах древних героев».

Сильное влияние оказал на моего отца и варшавский театр. Нужно помнить, что он был в то время для поляков не только любимым развлечением, но и искусством, имеющим громадное образовательное значение, одним из наиболее полезных средств для их служения страстно любимой отчизне. Варшавский театр был лучше обставлен и поставлен, чем русский столичный театр, и имел огромное влияние на всю жизнь моего отца. Будучи женатым и имея большую семью, он всегда проводил мысль, что из всех просветительных влияний наибольшее имеет театр, как первейшее средство для воспитания в молодежи благородных чувств. Эта мысль, всецело овладевшая им, заставила его впоследствии, несмотря на свои скромные материальные средства, устроить свой собственный театр. Хотя он не построил для него особого здания

¹¹ Под Лейпцигом (Саксония) произошло 4–7 октября 1813 года сражение между войсками союзных европейских государств и армией Наполеона I, известное под названием «Битвы народов». Поражение Наполеона в этом сражении привело к потере Францией всех завоеванных в Европе территорий.

¹² Имеется в виду «дарованная» Людовиком XVIII после первой реставрации (1814) цензовая конституция, делавшая возможным приход к власти, наряду с дворянством, верхушки финансовой и торговой буржуазии.

¹³ В данном случае «маестностями» автор называет помещичьи имения.

¹⁴ одобрением (от *лат.* *approbatio*).

и представления происходили в квартире, занимаемой его семьей, хотя все было устроено так просто, как теперь редко устраивают в домашних спектаклях, а артистами являлись прежде всего собственные дети и крепостные, но все же этот театр в конце концов помог окончательному разорению моего отца.

Театральная обстановка и доспехи наших доморощенных артистов (из одиннадцати человек крепостных, исключительно предназначенных для театра, шесть человек были актерами, а пять – музыкантами) оказывались крайне незамысловатыми. Короны были склеены из золоченой бумаги и украшены фольгой и цветными бусами; шпаги, латы, сабли и т. п. сделаны из папки и дерева, раскрашены или обклеены разноцветной бумагой; туалеты артисток смастерены из самой дешевой материи с бумажными блестками, – одним словом, все было приготовлено домашним способом, руками моих сестер и горничных.

Если бы кто-нибудь теперь взглянул на все эти театральные принадлежности, то наверно бы подумал, что таким театром могли забавляться лишь дети в небогатой семье, никто бы не поверил, что образованный, серьезный человек мог отдавать ему все свои силы, душевные и материальные. Конечно, причину полного разорения моей семьи был не только театр, а вообще беспечность отца, который жил на более широкую ногу, чем позволяли ему его скромные средства, но сильно помогали этому и наши театральные представления. Особенно обременительны были приемы гостей, съезжавшихся на них иногда издалека, и не только с членами своей семьи, но и со своими гувернантками, горничными и лакеями, – всех их приходилось угощать ужинами, а некоторых содержать с лошадьми и челядью в продолжение нескольких дней. И то еще хорошо, что не все оставались гостить: театральные представления были устроены в уездном городе (где тогда жили мои родители), и на них являлись не только городские знакомые, но и знакомые семьи, живущие в своих деревенских поместьях. Гости, приехавшие издалека, за верст тридцать – сорок, не могли пуститься ночью в обратный путь при тогдашних ужасающих дорогах. Да и чего им было торопиться? Спешной, обязательной работы у помещиков не бывало. Раз приехали из своего захолустья, нужно воспользоваться случаем! На другой день после спектакля одни из гостей садились за карты, другие предпринимали увеселительное катанье куда-нибудь за город или отправлялись на охоту за несколько верст, а вечером молодежь устраивала танцы, игры, пение.

Несмотря на то что моя мать после смерти своего мужа осталась в крайне тяжелом материальном положении, она свято чтит его память и вспоминала о нем не иначе, как с трогательным благоговением.

Когда кто-то из близких однажды при нас, уже взрослых ее детях, выразил ей свое удивление, как она при большой семье могла допускать жизнь не по средствам, вот как она оправдывала себя и мужа, вот что рассказывала она по этому поводу нам, своим детям:

«После нашего брака Николай Григорьевич точно обозначил роли в хозяйстве каждого из нас: я должна была заботиться о детях, заведовать домашним хозяйством, скотным двором, прислугой, а в его распоряжения относительно крепостных и сельского хозяйства я не имела права вмешиваться. Я была очень молода, доверяла ему во всем, думала, что он лучше меня знает, как это должно быть, а потому и не обращала внимания на остальное. Конечно, с годами я все более сознавала, что при нашей громадной семье следовало бы жить поскромнее, не вводить у себя таких затей, как театр... Но ведь муж устроил его не для своей забавы, а для пользы детей. Ему самому ничего не нужно было: ему хотелось только, чтобы его дети, как пчелы, жужжали вокруг него, чтобы их интересы были чище и выше интересов окружающей среды. Подумайте только, что мы видели в то время кругом! Бесшабашный разгул, грязь, разврат, взяточничество, истязания крестьян, отчаянный картеж!.. Совсем другое было у нас. Бывало, муж только что прибежит из должности, сейчас начинает учить детей или устраивает репетицию, а то сидит и переводит Мольера для своего театра, много переводил с польского, ставил пьесы

Фонвизина и Грибоедова. Многие помещики нашего уезда впервые из представлений нашего театра познакомились с произведениями русских писателей, даже с комедией „Горе от ума“.

Никогда, ни в одной семье не встречала я человека, который бы так страстно любил своих детей, как ваш отец: он всю свою жизнь готов был отдать на то, чтобы сделать вас людьми более просвещенными и гуманными. Он то и дело открывал какие-нибудь способности то у одного, то у другого из вас и находил, что нет больше преступления, как зарыть в землю талант, не постараться развить его. Узнает, бывало, что кто-нибудь из знакомых хорошо рисует, и попросит его обучать дочь или сына, да при этом зорко следит за тем, делает ли ребенок успехи. Вторая дочурка наша, покойница Манюня, любила в саду копаться. Он приискал ей хорошего садовника, который ее садоводству обучил. И какие она стала разводить георгины, шток-розы, гиацинты, научилась прививать фруктовые деревья, сажать и сеять всевозможные цветы, ухаживать за ними! На вечеринке увидит барышню, которая хорошо протанцует характерный танец, он сейчас же подсядет к ней и попросит ее обучить этому танцу ту или другую из своих дочерей.

Во время наших театральных спектаклей в антрактах (ведь он сам всему учил актеров и всем распоряжался) муж выйдет к публике, посадит к себе на плечи Петюню (забавный был мальчишечка) и заставит его говорить с жестами какое-нибудь стихотворение или басенку. А после окончания спектакля дочери должны были протанцевать качучу или выйти к публике в русских нарядах. Вот и явятся они, мои доченьки, в сарафанах, кокошниках или в девичьих повязках со множеством разноцветных лент, падающих на спину вместе с косой, с нитками разноцветных бус на шее, и отхватывают весело-превесело русскую с своими братьями, которые тоже одеты в кумачовые рубахи и черные плисовые штаны. А после разудалой русской пляски муж прикажет оркестру играть „По улице мостовой“, и старшие дочки наши, помахи-вая белыми платочками, плывут, как лебедушки...

– Счастливые, счастливые! – криком кричат посторонние барышни моим дочерям. – Как вам хорошо, весело живется при таком отце!

Но эти представления вызывали и зависть: завидовали тому, что к нам все стремились, что у нас было так весело, как нигде. Иная барыня, бывало, вся исстрадается, что ни я, ни мои дочери не обращаем внимания на пересуды, и уж как-нибудь ввернет мне: „А как вас Анна Павловна осуждает за ваш театр! Говорит, что при таком небольшом имени, какое у вас, это должно быть крайне разорительно!..“ А я, бывало, сейчас и перебыю ее просьбою передать этой самой Анне Павловне, что я больше ее на свои спектакли не позову. И как этого боялись! После нескольких сплетней, переданных мне, уже никто ни гугу... Сама знала я, что эта затея не по нашему карману, но настоять на том, чтобы муж уничтожил ее, не могла... Как сравню, бывало, свою семью с другими, подумаю, какая у меня семейная жизнь и какая у других, какие разговоры ведут мои дети и какие у них интересы, – и скажу себе: нет, трогать нельзя, а то, пожалуй, изломаешь и все хорошее.

Особенно укреплялась я в этой мысли потому, что видела любовь детей к отцу... Бывало, кто-нибудь из моих девочек во время вечера отойдет в сторонку и надует губы... „Чего еще тебе не хватает?“ – спрошу ее. „Мамашечка, попросите папеньку, чтобы он со мной потанцевал, а то он со всеми уже по два раза, прошелся, а со мной только раз“. Им ничего не нужно было, только бы отец был с ними, и Николай Григорьевич без них нигде не бывал, никуда не ходил... Что же, думаю, бывало, если, по холодности характера, я сама не могу внушить детям горячей любви, пусть любят отца, – он более меня достоин этого...»

Если отец не был на службе, он занимался с детьми или поднимал с ними возню, которою сам увлекался, как ребенок. Матушка, выведенная из терпения шумом и визгом, выскакивала тогда из своей комнаты, где она занималась счетами или хозяйственными распоряжениями, и расталкивала в разные стороны детей и расшалившегося мужа. Чтобы задобрить ее, отец цело-

вал ее ручки или хватал ее за талию и начинал бешено вальсировать. И матушка моментально смягчалась.

Отец с матушкой, несмотря на диаметрально противоположные вкусы, характеры и умственное развитие, относились друг к другу с полным уважением, доверием и любовью... Но это не исключало маленьких домашних сцен и ссор, происходивших в большинстве случаев из-за воспитания детей. Матушка и серьезно, и в шутку укоряла отца за баловство детей, за то, что он не умеет соблюдать с ними отцовского авторитета, а отцу не нравилась ее холодность в обращении с ними. Матушка оправдывалась тем, что женщина, которая, как она, носит каждый год ребенка под сердцем, не может быть страстной матерью.

Однако из слышанного об отце я не все находила прекрасным в его системе воспитания. Будучи для своего времени человеком передовым и сознавая весь вред предрассудков, господствовавших тогда в русском обществе, он всеми силами старался искоренять их в своих детях. Он строго запрещал страшить их мертвецами, оборотнями, вообще говорить им что бы то ни было несообразное с здравым смыслом. К числу предрассудков он относил боязнь темной комнаты и грома, – страх перед тем и другим он старался уничтожить несвойственными его мягкой натуре суровыми мерами, от которых сам страдал и которые иной раз приносили его детям не менее вреда, чем самые предрассудки. Одна из моих сестер, десяти – одиннадцатилетняя девочка, особенно болезненно относилась к грому и грозе. Когда небо заволакивалось свинцовыми тучами, она бросалась в постель и накидывала на голову что попадало под руку. Но отец насильно тянул ее на двор: девочка билась у него в руках, кричала, плакала... У отца при этом текли слезы из глаз, он нежно укутывал ее в платок, но крепко держал и оставлял под открытым небом. Однажды он вытащил ее во время сильной грозы. Сестра умоляла пустить ее в комнаты, кричала, тряслась, вдруг упала на землю, и с ней сделался припадок, вроде падучей. Отец был в отчаянии, но в первый же раз, когда снова разразилась гроза, опять начал уговаривать ее и тащить с собой, пока этой педагогической мере не положила конец матушка. Ее здравый смысл восторжествовал: она вырвала у мужа трепещущую девочку и резко накричала, что она ни за что более не позволит ему сводить с ума детей.

Мой отец старался и в своей жене развить любовь к серьезному чтению и ко всему польскому. Хотя матушка за множеством домашних обязанностей не часто Располагала свободным временем, но, она все-таки выучилась этому языку, что давало возможность отцу читать ей вслух польские книги. Мало того, он сам учил старших детей по-польски и разговаривал с ними не иначе, как на этом языке. Но как только умер отец, все в доме стали говорить исключительно по-русски. Мои братья и сестры, не имея практики в польском языке, начали постепенно его забывать; я же, оставшись после смерти отца маленьким ребенком, когда у нас воцарился исключительно русский язык, не запомнила от раннего детства ни одного польского слова.

После брака мои родители лишь несколько лет прожили в деревне, в своем имении Погорелом, а затем переселились в Щоречье), уездный город Смоленской губернии, переезжая в деревню только на летнее время. Итак, моя семья большую часть года проводила в городе для того, как говорил матери покойный отец, «чтобы не погрязнуть в захолустных дебрях, среди людей звериного образа».

Но едва ли такой жалкий уездный городишко, как П^оречье, был в то время более приспособлен для жизни культурного человека, чем наше захолустное поместье. Судя по некоторым фактам, я думаю, что к переселению в город отца побудило прежде всего желание увеличить средства своей многочисленной семьи, – он получил в нем место уездного судьи, – а затем желание устроить собственный театр, что, конечно, удобнее было осуществить в городе, чем в деревне. Окончательному решению переселиться в город содействовало более всего то, что моему отцу неожиданно представился случай купить в городе П^оречье) большой деревянный дом со службами, надлежащими пристройками и хорошим садом чуть не задаром, а именно за 900 рублей ассигнациями.

Семья наша увеличивалась с каждым годом. Довольно сказать, что матушка, прожив с отцом 20 лет (от 1828 до 1848 года) имела, по ее *собственному счету*, 16 человек детей. Я указываю на ее *собственный счет* потому, что он не согласовался со счетом соседей. У матушки была какая-то болезненная ненависть к точному определению количества своих детей. Однажды она сказала при соседке-помещице что-то в таком роде: «Когда у женщины было так много детей, как у меня...» Собеседница перебила ее словами: «Да, порядочная была у вас семья! Вы-то считаете, что у вас было шестнадцать деток, а все кругом говорят, что их у вас было девятнадцать: вы ни выкидышечков, ни мертворожденненьких в счет не берете...»

Матушка, крайне вспыльчивая по натуре, вышла из себя при этих словах и наговорила больших резкостей соседке, которая не переставала подзадоривать ее словами: «Чего же стыдиться этого? Ведь это же благодать божья! К тому же у вас, уж по совести можно сказать, они не от заезжих молодцов, как у многих других, а от богом данного законного супруга».

Однако, если остановиться и на матушкиной статистике, то есть на том, что у нее было шестнадцать человек детей, то в 1848 году, то есть перед холерою, их оставалось уже двенадцать, так как четверо из них умерли еще до этого злосчастливого года: двое из умерших были моложе меня, так что я перед смертью отца была самой младшей в семье.

В жизни моего семейства няня играла выдающуюся роль. Мы, дети, были крепко привязаны к ней, а я и моя сестра Саша любили ее даже больше матери. Вот потому-то я и считаю необходимым объяснить, как она у нас появилась. Все служащие у нас люди были нашими крепостными, кроме няни, которая была из мещанского сословия, следовательно, могла свободно располагать собою. Но в то время, как у низшего, так и у высшего класса русского общества понятия были чисто крепостнические, рабские. Няня до глубины души оскорблялась каждый раз, когда кто-нибудь из домашних напоминал ей о том, что она человек свободный. Она считала себя настоящей рабой моих родителей и членов нашего семейства.

– Нянюшечка, – кричал иногда кто-нибудь из моих братьев, чтобы посердить ее. – Ты не наша крепостная! Если ты убежишь от нас, становой не будет тебя разыскивать...

– Что я тебе сделала, Заринька (Захар)? – отвечала она с горечью. – Чем не угодила, что ты меня так обижаешь?

Но тут со всех сторон поднимались возмущенные голоса детей:

– Зарька! как ты смеешь обижать няню! – И все мы, как по мановению волшебного жезла, бросались к ней со словами: – Няня наша, наша собственная! Она не смеет уйти от нас!

– Конечно, не смею! – отвечала она, уже совершенно успокоенная.

Вот как эта совершенно свободная женщина сделалась нашею, по ее мнению, неотъемлемою собственностью. Родители няни были зажиточными мещанами. Ее отец держал постоянный двор, и вся его семья, состоявшая из жены и дочери Маши (впоследствии нашей няни), должна была работать не покладая рук. Он был человек крутого нрава и за ничтожную оплошность жестоко расправлялся с женою и дочерью.

Маша и в детстве не отличалась крепким здоровьем, а когда мать ее внезапно умерла, это так потрясло девочку, которой в то время было четырнадцать лет, что она захворала после похорон, а когда встала с постели, очень долго не могла оправиться. Отец ее нанял на время работницу, но скоро объявил дочери, что ей уже время работать, а так как она взрослая, то обязана все делать сама. Но Маша плохо справлялась с хозяйством, за что тяжелая рука отца обрушивалась на нее с такою силою, что нередко оставляла кровавый след. Так прожила она с полгода после смерти матери, как вдруг узнала, что отец ее собирается жениться во второй раз, да еще на сварливой бабе. Тогда Маша решила, что положение ее в доме при мачехе еще ухудшится, и задумала бежать раньше, чем отец женится. Случай помог этому.

Как-то весной она вышла из дому и села на завалинку. Мимо нее прошли нищие и недалеко от ее дома сделали привал. Их пение и рассказы так прельстили девочку, что она открыла свою тайну одной из нищенок, которая и пригласила ее странствовать вместе с ними, питаться

подаванием, «прославляя имя господне и вымаливая у всевышнего прощение людям их грехов». И девочка сделалась нищенкою.

Но бродячая жизнь в холод и непогоду, ночевки на сырой земле под открытым небом очень скоро подорвали, ее здоровье. К ее все большему недомоганию и жестоким лишениям, которые ей пришлось выносить, присоединилось еще отвращение к нищим, с которыми столкнула ее судьба. Приближаясь к деревне, они обыкновенно ловко загоняли в сторонку кур с цыплятами и уток и сворачивали им головы, вытаскивали узелок у спящего на дороге человека, вообще оказывались опасными товарищами.

До города Владимира, куда нищие направлялись, оставалось уже несколько верст, когда они заметили деревенскую избу, а на изгороди, в некотором расстоянии от нее, развешенное белье. Старшой нищих решил тут сделать привал, а Маше приказал осторожно стащить все с изгороди. Девочка стала умолять его не давать ей этого поручения. Нищий уже поднял свою клюку, чтобы ее ударить, как вдруг издали раздался стук колес и звон колокольчика, и он успел только толкнуть ее изо всей силы и грозно закричал ей, что он убьет ее, если она попадется ему на дороге.

Долго пришлось Маше бродить по городу, не получая подавания. Мой отец, который по своим делам находился в это время во Владимире, случайно натолкнулся на девочку, упавшую без чувств от голода, утомления и слабости, и свез ее в больницу; когда она пришла в сознание, он узнал от нее всю ее историю, затем зашел ее навестить и, когда она оправилась, дал ей денег и отправил с письмом к своему знакомому, управлявшему поблизости фабрикою. Но прежде чем расстаться с девочкою, мой отец дал ей адрес своего поместья и сказал ей, что, если она через год-другой забредет туда, он непременно устроит ее.

Плохое здоровье Маши не дало ей возможности долго прожить на фабрике. Поработав несколько месяцев, она отправилась искать места, но, прежде чем найти его, ей долго пришлось перебиваться поденной работой, то и дело впадая в жестокую нищету. Наконец она нашла место няни во Владимире, в доме богатого купца Сидорова, где ее полюбили не только дети и хозяйка, но и жестокосердый хозяин, у которого до нее никто не уживался. Она прожила у них более пяти лет, могла бы прожить и всю жизнь, так как Сидоровы ни за что не хотели расстаться с нею. Но из благодарности за участие, которое выказал ей мой отец, Маша решила, что она обязана всю свою жизнь, все свои силы отдать на служение ему. И это стремление во что бы то ни стало отыскать моего отца никогда не покидало ее. Если она не явилась к нему раньше, то только потому, что ей не с чем было двинуться в дальний путь. Прежде чем окончательно уйти от Сидоровых, она объявила им, что желает оставить их, но те всячески задерживали ее.

Вот как она передавала это нам сама: «Вы, детушки, часто спрашиваете, отчего я такая дряхлая да старая, а мамашечка ваша одних со мною лет, а выглядит куда моложе меня... А от того, сердечные мои, что жизнь моя, почитай, с самых ребячьих лет больно тяжкая была. А как я убежала из родительского дома, так у меня сразу и вся молодость пропала!.. Проживу год – точно десять лет прошло, из лица на десять лет постарею... От горького ли одиночества, от жизни ли моей скитальческой, только все, что людей в молодости радует, у меня точно огнем выжгло: ни о нарядах я не помышляла, ни о женихах на уме у меня не было... Втемяшилась в меня одна думка: к благодетелю моему – к вашему батюшке добаться, в ноги ему броситься, послужить ему за доброту его ко мне, что меня, злосчастную, из грязи вытянул. И ничего другого в голове у меня не было. Как только моим господам, купцам Сидоровым, надоело меня улещать еще маленько пожить у них, так я скорехонько уж и у вас объявилась. Мамашеньке-то вашей я ровесницей пришлась: ей было тогда, как и мне, двадцать три года. Сколько лет с тех пор прошло, а я и в ту пору немногим моложе выглядела: старая-престарая, точно черносливина сморщенная, а мамашенька-то ваша что маков цвет цвела: белая, румяная, полная, на вид еще моложе своих лет. У нее уже пятеро деток было, да все крошки-погодки, – вот я и стала их нянчить. Так с тех пор и живу у вас, даст бог, у вас и кости сложу».

Всю любовь, всю преданность своего доброго сердца няня отдала нашей семье. У нее не было своей жизни: ее радость и горе были исключительно связаны с нашей жизнью. За то только, что отец когда-то свез ее в больницу, навестил ее во время болезни, дал несколько рублей на то, чтобы она могла переменить нищенские лохмотья на обычную деревенскую одежду, душа этой молоденькой девушки преисполнилась к нему безграничною благодарностью, благоговением, доходившим до поклонения. Она дала слово богу отдать свою жизнь на служение моему отцу и его близким и, несмотря на все превратности судьбы, сдержала свое слово. Детей своего «благодетеля», как называла она отца, она любила, как может, только любить нежно любящая мать. Несмотря на бесконечную массу дела в доме, она не только с утра до ночи зорко следила за нами, но и по несколько раз ночью подходила к каждому из нас, закрывала того, кто разметался на постели, внимательно осматривала, крестила. Во время еды она тщательно наблюдала за наиболее болтливыми, чтобы они не остались голодными. Она совсем отбивалась от еды и сна, когда заболел кто-нибудь из нас, но если больной начинал поправляться, она, еще изнуренная уходом и бессонными ночами, от радости не знала, что делать: показывала выздоравливающему всякие фокусы, рассказывала сказки и приключения из своей жизни, пела, даже плясала.

Мать считала няню своею главною помощницею и всегда говорила, что без нее она ни за что не могла бы справиться со своею огромною семьею и со своим сложным хозяйством. Что же касается того времени, когда она осталась одна после смерти мужа, она признавалась, что без няни совсем бы пропала. Мои братья и сестры, поступавшие в учебные заведения, обыкновенно писали ей письма, которые были для нее предметом восторга, ее гордостью и величайшим счастьем. Она, как святыню, бережно складывала их в шкатулку и в свободное время перечитывала их, но чаще поручала это нам. Хотя она умела читать (для ведения дел на постоялом дворе, который держал ее отец, требовалась грамотность, что и заставило отца обучить ее читать и кое-как писать; еще более получилась она от своих питомцев), но она любила наслаждаться чтением писем в обществе детей, оставшихся дома. Читает ей, бывало, сестра то одно, то другое письмо, чуть не в сотый раз, она набожно крестится, при нежных же эпитетах, вроде следующих: «дорогая, золотая, бриллиантовая, любимая нянюшечка» и т. п. проливает потоки слез. При этом она обыкновенно приговаривала: «Ах, голубчик мой дорогой, да разве я это заслужила?»

Для нас, детей, она положительно была ангелом-хранителем, и мы все обожали ее. Матушка была с нами скорее сурова, чем нежна, няня же обращалась с нами удивительно ласково, употребляя все усилия, чтобы предупредить вспышки матушкиного гнева. Но в те крепостнические времена ни одно чувство не выражалось по-человечески: господа и рабы, свободные и крепостные выражали свои чувства по-холопски, вытравливая и в детях все зародыши истинно честных и свободных инстинктов.

– Нянюшечка, – и при этих словах моя сестра Саша так трясет за рукав няню, что ее вязальные спицы разлетаются в стороны. – Слушай, нянюшечка, я тебе на ушко секрет скажу...

– Ах ты шалунья! Видишь, все спицы на полу! – И няня нагибается их поднять, но сестра предупреждает ее. – Петлю-то в чулке подними, – говорит ей няня наставительно и строго, не давая ей нагибаться за вязальными спицами, – а по полу ерзать не твое дело. Ты – барышня и так себя понимать должна, – значит, для холопки своей не смеешь спину гнуть! Вот если бы я очень больна была, с постели не могла подняться, ну, тогда другое дело, ты бы, значит, милосердие свое оказала. А делать это без надобности для тебя должно быть довольно стыдно!.. Ну, теперь, Шурочка, говори свой секрет.

– Нянюша! Очень моя славная, дорогая, любимая!.. Я тебя люблю больше всех, всех, всех!.. Даже больше мамашеньки!

– Никогда не смей этого говорить, Шурочка, – ни при мамашеньке, ни без нее, – сердито выговаривает она сестре. – Разве можно кого-нибудь любить больше матушки родимой? Грех это, деточка, ух какой грех!

– Грех, говоришь? А что же мне делать, нянюша, если я тебя люблю больше мамашеньки? Отчего же это грех?

– Ну, Шурочка, ты не малолетка!.. Могла бы уж понимать, что родную матушку бог велит больше всех любить! Да опять же ты настоящего дворянского рода, а я твоя раба, – как же ты можешь меня к матушке приравнивать?.. Большой грех, дитяtko, так говорить!

– Но если это такой грех, как ты говоришь, так скажи же, нянечка, должна я это на исповеди сказать? – допытывалась сестра совершенно серьезно.

Няня в первую минуту, видимо, растерялась, но тотчас же нашлась.

– Какие ты пустяки, Шурочка, спрашиваешь! Ведь этого нет, и ты этого вовсе не думаешь! Это только сейчас и в голову-то твою взбрело! Пустяки это все, и незачем этого батюшке на духу сказывать! Нечего его глупостями утруждать! И как это у тебя язык поворачивается так про матушку говорить? Ведь она день-деньской как рыба об лед бьется! Подумай сама, сколько вас-то всех! Она вас и обшивает, она и по хозяйству, она вас и наукам обучает, – где ж ей время взять, чтоб еще с вами забавляться? Мамашенька-то у нас первая голова во всей округе, чай, не пристало ей с вами телелёшиться, сказки сказывать да глупости всякие нести, как я!

Наиболее яркое впечатление из моего отдаленного детства во время нашей городской жизни оставили дни доставки провизии из деревни.

– Вozы, вozы приехали! – вдруг раздавался крик братьев и сестер.

При этих криках мы, детишки, стремглав бросались к окнам, и нам было видно, что узенькая улочка, на которой стоял наш дом, вся запружена нашими деревенскими вozами. Если была мало-мальски сносная погода, мы второпях надевали наши пальтишки, гурьбой высыпали на улицу и начинали шмыгать между вozами, выхватывая узелки и ящички поменьше, чтобы вносить их в дом. Для нас, малышей, это была одна из счастливейших минут жизни, но далеко не без шипов, и требовала от нас большой выдержки и силы воли. Если во время этой суматохи мы как-нибудь неловко подвергались под руку старшим или, боже упаси, роняли какой-нибудь горшок, нас бесцеремонно толкали и колотили чем попало, и не только матушка, но даже горничные и лакеи считали эту минуту самой удобной, чтобы сводить с нами различные счета. Иная горничная и не решалась дернуть или толкнуть, но умела отомстить еще чувствительнее: ей стоило только закричать так, чтобы услышала матушка.

– Да что вы, барышня, так кидаетесь? Чуть с ног не сшибли! Банку бы с вареньем выронила! – И этого было достаточно: матушка, как ястреб, бросалась на оговоренную и за руку, а то и за уши тащила несчастную в дом, вталкивала в первую попавшуюся комнату и замыкала на ключ. То же самое было с той из моих сестер, которая, не стерпев обиды, вскрикивала от толчка горничной или лакея: не разбирая, в чем дело, матушка наказывала ее, как и предыдущую. Такие разговоры горничных и лакеев во время суматохи всегда оставались нерасследованными, потому что доставка провизии вносила много работы на несколько дней для всех служащих, и матушка не имела времени думать о чем бы то ни было, кроме как о приведении в порядок своего деревенского добра. Для детей же просидеть взаперти в отдельной комнате в столь оживленное и любимое время было величайшим несчастьем, и каждый из нас готов был проглотить всякие обиды, лишь бы не быть исключенным из всеобщей суматохи. Но этим наказаниям мы подвергались редко: наш ангел-хранитель, няня, зная настроение матушки в такое время, выбегала вместе с нами на улицу, если только это было для нее возможно, и, как насадка относительно своих цыплят, зорко наблюдала, чтобы вовремя охранить нас от толчков и пинков старших и чтобы не дать нам что-нибудь уронить. Но тот, кто во время этой суматохи

ускользал от ее бдительного надзора и получал трепку от матушки, молча утирал слезы, боясь проронить хотя один звук.

Шумно и торжественно вносили крестьяне в дом кадки, бочки и бочонки с квашеной капустой, с солониной, маслом, творогом, сметаной, с замороженными сливками. Наконец все расставлено на полу во всех комнатах, которые принимают вид беспорядочного базара самой разнообразной снеди. Выходные двери закрывают, и начинается распаковка: ящики взламывают, узлы и мешки развязывают, рогожи разрезают и оттуда извлекают банки с вареньем, горшки с маринадами, мочеными яблоками, соленой рыбой, с медовыми сотами, с солеными и маринованными грибами и огурцами, вытаскивают мороженых кур, поросят, индеек, гусей и всякую дичину. Затем постепенно начинают все это сортировать, что относят в погреб, что в кладовушки и боковушки, вспарывают мешки с орехами, с сушеною малиною, земляникою, с яблоками и всякою всячиной. При этом всех нас щедро одевают деревенскими гостинцами, – и мы целый день грызем, сосем, жуем – одним словом, наслаждаемся.

Если бы наша семья не могла получать из деревни провизии, холста и кож, если бы крепостные не обшивали нас с головы до ног, если бы мы не жили в деревне по нескольку месяцев в году, мы не могли бы существовать, а тем более жить на барскую ногу, как это было при отце.

Мои личные воспоминания делаются несколько более отчетливыми и рельефными с 1848 года, но и тут, вероятно, я могла бы вспомнить лишь некоторые факты нашей семейной жизни, да и то без всякой логической связи. Но различные события этого невыразимо злосчастливого года, который таким роковым образом отозвался на нашей судьбе, так часто и с такими подробностями вспоминали близкие мне люди – мать, братья, сестры, няня и наша прислуга, – что я уже и сама не знаю, что из происшедшего за это время я запомнила по личным наблюдениям, что узнала от других.

Раннею весною 1848 года мы часто стали слышать, как взрослые разговаривали о том, что у нас на Руси много народа умирает от холеры. Вследствие этого мои родители решили переехать в деревню раньше обыкновенного. Но вышло наоборот: какие-то дела задержали их, и мы в первый раз встретили пасху в городе. Вдруг в конце страстной недели разнеслась весть о том, что холера появилась и в нашем городе. Решено было собраться в деревню после первых дней пасхи. Между тем как раз в это время прислуга то и дело вбегала в столовую и сообщала, что в том или другом доме кто-нибудь заболел или умер. Но нас, детей, это нисколько не заботило: мы были поглощены куличами, пасхами, но более всего разноцветными яйцами, которые мы весело катали по полу, примостив в уголок или к стене свои лубки. На третий день пасхи стояла теплая прекрасная погода: выбежав с утра веселою гурьбой на крыльцо, мы увидели незнакомую нам девочку лет трех-четырех, одетую, как одевались тогда дети среднего помещичьего достатка. Незнакомка, нисколько не стесняясь тем, что находилась в чужом доме, спокойно возила по крыльцу нашу игрушечную тележку. Мы сейчас же подбежали к ней, спрашивали, как ее зовут, откуда и зачем она пришла к нам. Она ответила, что ее зовут Лелею, но на дальнейшие вопросы не обращала ни малейшего внимания, выхватывая из наших рук лубки и яйца и бросая все в тележку. Мы, вероятно, тоже нашли дальнейшие вопросы излишними и стали помогать ей тащить нагруженный воз, затем все вместе побежали в сад, где мы с нею бегали, играли и катали яйца, как со старой знакомой. Когда нас позвали к обеду, родители наши очень удивились появлению незнакомого ребенка, а когда отец, схватив ее на руки, просил ее показать, откуда она пришла, она неопределенным жестом махнула куда-то рукой и нетерпеливо закричала: «Есть хочу, скорее есть». После обеда няня взяла девочку за руку, чтобы вместе с нею прогуляться и, может быть, таким образом узнать, откуда она, но Леля стала плакать и кричать, вырвалась из ее рук и побежала с нами в сад. Тогда матушка отправила горничную справиться по соседним домам, не ищет ли кто своего пропавшего ребенка. Но поиски оказались напрасными, и Леля осталась у нас ночевать. На другой день отец с утра отправился в город за теми же сведениями, но, возвратившись домой, высказал только предположение, что

девочка, должно быть, прибежала из противоположного конца города, из одного дома, стоявшего несколько в стороне от города, так с версту от него, и в котором в несколько дней вымерла вся семья. Он говорил, что дошел до этого дома, но двери его и двор оказались заколоченными; полиция обещала ему немедленно навести справки и доставить необходимые сведения. При этом отец подтвердил, что в городе за последние дни заболевает и умирает очень много народу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.